

1988 № 11 (23)  
НОЯБРЬ

# РОДІНІК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА,

ПОЭЗИЯ,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА





# РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС  
(главный редактор),  
ЭДГАРС БАНС,  
ВИЛНИС БИРИНЬШ  
(ответственный секретарь).  
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС,  
ПАВЕЛ ВИШНЕВСКИЙ,  
ГУНТАРС ГОДИНЬШ  
(редактор отдела),  
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС,  
РОСТИСЛАВ ЗУБКОВ,  
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ  
(заместитель главного

редактора),  
СТАНИСЛАВА МАРСОНЕ,  
МИЕРВАЛДИС МОЗЕРС,  
МАРИС ОГА,  
ЯНИС ПЕТЕРС,  
ЯНИС РОКПЕЛНИС,  
БАЙБА СТАШАНЕ,  
АДОЛЬФ ШАПИРО.

## РЕДАКТОРЫ:

РУДИТЕ КАЛПИНЯ,  
АНДРЕЙ ЛЕВКИН,  
ОЛЕГ МИХАЛЕВИЧ,  
НОРМУНДС НАУМАНИС,  
ЭВА РУБЕНЕ,  
ТАТЬЯНА ФАСТ.

## ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

## КОРРЕКТОР

ОЛЕГ КРУГЛИКОВ.

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ.

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

## К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопросами реализации тиража журнала занимаются типография и «Союзпечать». Поэтому редакция не располагает возможностью обеспечить предыдущими номерами журнала читателей, не успевших подписаться заблаговременно.

## ЛИТЕРАТУРА

- Янис Рокпелнис. Стихи (1)  
Иван Полоцк. «А вам не хочется под ручку пройтись?» (4)  
Юрий Касянич. Стихи (9)  
Владислав Уртанс. «Последний год книжника Яниса Розе» (10)  
Евгений Орлов. Стихи (13)  
Алексей Парщиков. Стихи (14)  
Владимир Набоков. «Что как-то раз в Алеппо . . . » (18)  
Василий Комаровский. Стихи (23)  
Андрей Курций. Стихи (26)  
Янис Веверис. «Те высокие, высокие окна» (30)

## КУЛЬТУРА

- Юрис Калначс. «Вторжение» (32)  
Михаил Трофименков. «Новые «новые»: «Пишем душу — на чем угодно, чем угодно»» (36)  
Вильгельм Михайловский. «Жизнь моя, фотография» (42)  
Вадим Руднев. «Введение в XX век» (45)  
Артем Троицкий. «Rock in the USSR» (48)

## ПУБЛИЦИСТИКА

- Даце Терзена. «В доказательствах нуждается все» (54)  
Петерис Удрис. «Латышский язык: разгул анархии или прочный статус?» (57)  
Марис Гринблатс. «Перестройка и национальный вопрос» (61)  
Арво Валтон. «О народах у нас и в других краях» (63)  
Вилнис Зариньш. «Философия грабителей» (67)  
Леонид Добычин. «Город Эн» (72)  
Роман Тименчик. «О городе Эн . . . » (80)





ЛИТЕРАТУРА

# ЯНИС РОКПЕЛНИС

Уходит кузничик дорогою дальней,  
С последнего клёна осыпалась леснь...  
Хор аистов маврам поёт наши дайны,  
Затем что вконец онемели мы здесь.

На черепе пашни не видно ни пряди.  
Лишь вены равнины, кустарника кость.  
Еще не обрызгано снегом ни пяди,  
А в небе засохшие капельки звёзд...  
Вот поле твоё — прозрачно, как погост.  
Стремления к жизни последняя горсть.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Твой век тебя в земле упрячет,  
Чтоб в сердце воцарился мир.  
Свидетель века ты, и, значит,  
Ты будешь убран в тот же миг.

Затем дана идея смерти,  
Затем она применена,  
Чтобы свидетельств было меньше  
Идущим следом временам.

Но рядом с прахом очевидца  
Твой век и сам истлеет в прах.  
С тобой ему темнеть, светиться,  
С тобой — рассыпаться в веках.

Растёт не полевица на могиле —  
Свидетельство, что время не скосило.

## МОДА-XX

Современней нас, и даже  
Современнее, чем мода,  
Как поганок крой всегдашний,  
Неизменная природа.

И берёзе в шляпке дивной  
Щеголять порой весенней,  
В речке плавает ундина  
Без портновских ухищрений.

Если очень любишь шить,  
Сшей себе из небосвода,  
Без чего так грустно жить —  
Что-нибудь а la Природа.







Лишь кто-нибудь выплёвывает душу —  
Колючую я вытираю лужу.

Осенью славной, обильной и пылкой,  
С десятью музицирующими ветрами

И тысячами вонзаемых листьев,  
Всем зорко, пылко и тепло  
Прозвучав, на слух людей  
В шорохе листвы зашумело.

Вдоль озера — выпивохи ненастья,  
Под солнцем из меди прохладной —

Осенью славной мне надо пройти

Дорогой алой как лента шёлка,  
Скромный, но не скромный, —

Странные лужи на всем пути  
Дурманят запахом, где бы ни шёл я.

Волна за волной всё невнятной лопочет

С каждым шагом теряется контур,

И только предчувствия выдержат гонк

А зима с серебряным мелом в руке

Стоит за неделями зазеркальными,  
Словно бы...

С серебряной ясностью вдалеке —  
 — — — — —

Одно лицо —

Распластана

Тёплой пучи  
Летят вместе

Твои волосы  
П

### Помедли, Застенчивая

Плещи, ещё  
Капли, дождя

Серебром зв



## А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ПОД РУЧКУ ПРОЙТИТСЯ?

РАССКАЗ

Ругаться уже не было сил. Денисов выпростал рубаху из брюк и помахал полами. Прохладнее не стало: пласт горячего воздуха только колыхнулся. И, главное, зудело между лопатками, как раз в том самом проклятом месте, куда никак не дотянуться. Прищурившись, Денисов огляделся. Дорога, вся в бурых застывших комьях засохшей грязи, вела меж приземистых бревенчатых срубов. Стволы в долгих морщинах трещин были выбелены солнцем. Сквозь штакетник низких палисадничков выбивалась чахлая картошка. Она только пошла в рост.

— Я понял, батенька, что подарю тебе на день рождения! — гулко захохотал сзади Катынский. — Кусок забора. Чтoб ты мог чесаться об него, сколько влезет!

— Ловлю на слове, — ерзая лопатками, сказал Денисов. — Как-то, во время оно, я был в зоопарке. Стою около обезьянника. Рядом папа с сыном. Папа весь в галунах и нашивках, осанистый такой... А тут гиббон стал чесаться об угол. И сынишка как заорет: «Папа! Смотри! Он точно, как ты, делает!»... Все так и легли от восторга... а я гиббону завидую.

— Да, батенька, — с удовольствием подхватил тему Катынский. — Комар и мошка — это, можно сказать, национальное бедствие. Особенно мошка. Комар — тот интеллигент. Летает деликатно, долго целится, место для посадки выбирает тактично... А вот мошка — ну, та сущая стерва... я конечно, о мировоззрении говорю. Нахально лезет в каждую дырку и прямо выедаёт кожу. Бороться бесполезно, надо только терпеть...

Перед поездкой в Толкачево Денисов надел сетчатую рубашку грубой вязки — нижнюю часть антикомариного костюма. Верхнюю, плотную капроновую накидку, надевать не стал — решил, что будет жарко — и сейчас стоически переносил атаки мошки, которая темным облачком вилась над ним.

... Очистив островок, бригада сегодня спустилась ниже по реке, за плавучий кран, на котором они обедали и ужинали, и сейчас ребята таскали баланы из редкого прибрежного кустарника, затопленного могучим разливом этого года. Денисов же и Катынский поехали за билетами на обратный путь для всей бригады. Денисов не напрашивался на эту поездку, но втайне был рад ей. Вечерами у него опухали кисти, натруженные багром, а когда они на катере возвращались домой в поселок, он пристраивался ничком на палубе, стараясь повысить задрать ноги. Когда его спрашивали о столь странной позе, отшучивался — ему было неудобно признаваться, что у него здорово ноет когда-то переломанная спина. Травму эту Денисов получил на память о молодой кобылице с нежным именем Жемчужная. Она не давалась ни в чьи руки, сбрасывая наездников, вдребезги расшибла передки у двух телег. Денисов, услышав рассказ о ней, заинтересовался и поехал в тот колхоз знакомиться с Жемчужной. Когда она задирала голову, Денисов, лишь подпрыгнув, мог ухватить ее за уши. Ему как-то удалось ее взнуздать и оседлать. Через полтора часа безумной гонки, мокрая и подрагивающая, она стала подчиняться каждому

движению руки Денисова, хотя он не переставал держать ее в шенкелях. Подъезжая к загону, он отпустил болтающиеся стремяна, бросил повод, перекинул ногу через переднюю луку и закурил. Лошадь стояла, опустив голову и прядая ушами. Опуская ногу, он чуть толкнул лошадь, и та, с места сорвавшись в карьер и словно зная, что Денисов, дотягиваясь до уползающего повода, отпустил заднюю луку, подпрыгнула и еще «сделала козла», то есть поддала задом. Денисов вылетел, как выброшенный катапульти, перевернулся в воздухе, и расставив руки, шлепнулся оземь, успев лишь подумать: «Вот это да!». Денисов перенес две операции, вволю покойфовал под промедолом, а потом полгода накачивал штангой мышцы спины, избавляясь от назойливых ночных болей.

Здесь, на сплаве, боли стали возвращаться. Когда работали с баграми, то было еще ничего: основная нагрузка ложилась на руки и плечи. А вот когда взялись за крючки и стали стаскивать многопудовые бревна с осушенных, но все еще илистых берегов, он не раз помянул Жемчужную недобрым словом — с восьми утра и до десяти вечера ноги и мышцы спины были в непрерывной работе.

Но сейчас он завидовал бригаде. Ребята весь день в плавках, под ветерком, на свежем воздухе. Устали — отошли на середину реки, и пока катер медленно сносит к обоновке, — вниз головой в прохладную бодрящую воду. А в это время на печурке в кубрике уже кипит вода в чифирбаке. Кружки по кругу — и ты, обжигаясь и шипя сквозь зубы, тянешь горькую черную жидкость, от которой холодеет в груди, бешено бьется сердце, а багор становится невесомым и послушным.

В агентстве Аэрофлота билеты на всю бригаду им выдали сразу и без пререканий. Удалось даже забронировать места на пересадке. Денисов и Катынский, приготовившись к долгому хождению по началству и нудному выбиванию билетов, с удовольствием поняли, что на них свалился целый свободный день. В кармане шелестели купюры. Напротив агентства продавали холодное пиво.

— Два, — сказал Денисов, подойдя к бочке, а Катынский для верности показал два толстых пальца с обломанными ногтями и с наслаждением крикнул.

— В свою тару, — лениво сказала рыженькая девушка.

— Это как? — не понял Денисов.

— Воды нет, — зевнув, сказала девушка. — Посуду мыть нечем. Только в свою тару.

— Мамоchка! — взмолился Катынский. — Вот же у вас баночка стоит. Отлейте нам в нее... душа горит.

— Пятьдесят рублей вы за меня платить будете? — ровным голосом сказала девушка. — Эпидемстанция не позволяет. Может, вы заразные...

Денисов и Катынский пошли в универмаг и купили банку «Горошка мозгового». Горошек вывалили на «Северную правду», вволю похлебали пива из банки и закусили зелеными катышками, которые слабо пахли травой.

— Старость надо уважать, — пробурчал Катынский. — Особенно нам, молодым и полным сил. Но в собственном соку... вы меня извините.



Все это было три часа назад. Солнце вошло в самую силу и казалось, что даже пыли на главной улице лень было подниматься выше, чем на полметра. Около газетного киоска спала собака. Денисов попытался отодвинуть ее, но она лишь лениво вильнула хвостом. Денисов нагнулся к киоску и накупил газет. Свесив ноги в придорожный кювет, сплавщики просмотрели заголовки. В мире не произошло ничего нового. Шли классовые битвы. Израильские агрессоры упорствовали. Капитализм гнил, но весьма заманчиво пах.

— Дерьмо и задница, — сказал Денисов. Он сделал из газеты треуголку и напялил ее на глаза. — Вася, рекомендую... самый лучший способ использования прессы.

— Послушай, — зашуршал рядом Вася. — Ты же когда-то в газете работал.

— У меня была бурная и неинтересная жизнь...

— Работал?

— Ну.

— Так вот... я все хотел узнать. Вот ты пишешь статью... душу в нее вкладываешь — так?

— Бывало, что и душу вкладывал. Но это невысоко оплачивалось.

— А назавтра ты видишь, что газета в сортире на крючке висит... это как? Не шемило? — по гулкому звуку Денисов понял, что Катynский ударил себя в колоколообразную грудь.

Денисов неловко пожал плечами — он уже лежал на спине — и дунул в треуголку, что сползла ему на рот.

— Не будь идеалистом, Вася, такова судьба всех газетных материалов. В конечном итоге всем им место в сортире. Сначала я ломал себе голову, как сказать только правду. Потом — чтобы сказать не всю правду. Общими усилиями от того, что я делал, оставалось только полправды. В лучшем случае. Оставшееся место заполнялось... словом, тем, чем нужно.

— Ну, а доказывать? Бороться?

Денисов дрыгнул ногой, пытаясь избавиться от мошки, которая ползала уже где-то выше колена.

— Знаешь, я до сих пор верю, что можно прошибить каменную стенку лбом. А что с ватной стенкой делать? — Денисова завело, хотя он не раз давал себе слово беречь нервную систему и тратить ее только на дело. — Что делать, когда никто и ни за что не отвечает? Вот ты встречаешь факт, который потрясает тебя до глубины души. Так ты не о нем думаешь! А о том, как подать его... словом, как и невинность соблюсти и капитал приобresti. И вообще, Вася, иди ты со своими разговорами подальше от простого советского сплавщика.

— Да, — пробормотал Вася. — Как же ты работал... с такими взглядами?

— И так было трудно, — пробурчал Денисов. — Кстати, не пора ли нам поесть?

— Точно! — оживился Катynский. — То-то я смотрю, мне не по себе.

Они привыкли съедать в день по три полных обеда. До аванса их кормили в долг на кране и, может, потому что каждый обед или ужин не были связаны с тратой денег, сплавщики ни в чем себе не отказывали — брали по два первых и вторых, три компота, и сдабривали биточки стаканом сметаны.

В просторной столовой гулко носились синие металлические мухи. Денисов и Катynский сели в углу и тоскливо посмотрели на шницели. Те разваливались на глазах, и из зеленых внутренних шел странный запах.

Катynский решительно поднялся и пошел к окошку раздаточной, неся перед собой на вытянутых руках две тарелки.

— Мамочки! — Он решительно влез в окошко. — Это кто готовил?

— Ну, чего тебе? — неохотно обернулась женщина у плиты. Передник был высоко поднят и заткнут за пояс. Она вытерла лоснящееся лицо сероватым полотенцем и, помахивая поварешкой, подошла к окошку. — Чего разорался?

— Я с вами разговариваю очень вежливо, — kloчочу-

щим голосом сказал Катynский, — и прошу ответить: кто готовил это... это дерьмо? Его в рот взять невозможно!

— Да и не бери! — Тарелки, выхваченные у Катynского, загрохотали по ребристой жестяной поверхности стола раздаточной. — Разборчивый какой нашелся! Весь город ест — и ничего! У нас, вон, и знамя висит, а он тут... материться на нас вздумал!

— Жалобную книгу мне, — сказал Катynский, не вылезая из окошка.

— Чего? — Женщина уже отошла и смотрела на Катynского из-за плеча. — Я вот сейчас вызову милицию, посидишь пятнадцать суток, пьяная морда... ишь, мурло залил с утра.

— Идем, Вася, — застряв в окошке, Катynский только хватал ртом воздух и Денисов потянул его за пояс штанов. — Она совершенно права. Ты именно мурло, и именно с утра ты залил его. Бутылочку «Агдама» мы ведь выкушали на двоих — забыл? И ничего ты ей не докажешь... пошли отсюда.

Выйдя из столовой, Катynский встряхнулся как пес, выскочивший из воды и с шумом выпустил воздух сквозь зубы.

— Во-во, — сказал Денисов, не без иронии наблюдая за ним. — Приведи нервы в порядок и успокойся.

В свое время Денисов с удовольствием вступал в схватки с общепитом и вообще со сферой так называемых услуг. Он настойчиво пытался выяснить, почему то, что выгодно, нужно и полезно ему, совершенно невыгодно, ненужно и бесполезно для тех людей, которые вроде бы призваны оказывать ему услуги. Он умел добираться до жалобных книг и делать в них ядовито-безапелляционные записи; не моргнув глазом, он сводил счеты с обидчиками и через газету. Но постепенно ему стало ясно, что все эти схватки, стычки и бои дорого обходятся ему. Жулики, мздоимцы и обманщики, пригвожденные им к позорному столбу общественного мнения, продолжали благоденствовать. При встречах они хмыкали за спиной Денисова, и тому не оставалось ничего другого, как только играть желваками на скулах.

Они сели на парапет набережной. За сизым простором воды уходила к горизонту тайга, а далеко внизу под ними — набережная была на высоком обрывистом берегу — у большого кошеля с бревнами толкался трудяга-буксирчик; кошель медленно плыл по течению.

— А вы б ее об пол шмякнули, — сказал сзади женский голос. — Тарелку-то...

— Помогло бы? — Катynский слез с парапета, а Денисов полуобернулся.

Засунув под драную кофту руки и скрестив их на животе, перед ними стояла невысокая коренастая женщина с прямыми нечесаными волосами и скуластым лицом.

— Да не-а, — хмыкнула женщина. За вздернутым кончиком носа тянулась и верхняя губа, открывая шербатые зубы; по разрезу глаз Денисов догадался, что в ней немало остояцкой крови. — Как готовили, так и будут готовить. Давно здесь никто не разорялся... вот как вы. Потому и подошла. Закурить не найдется?

— Для хорошего человека... — рассеянно сказал Денисов, вытаскивая из кармана брюк мятую пачку корейских сигарет. Запах у них был ужасный; делались они, как предполагал Денисов, из смеси жасмина с кизяком, но сплавщики покупали их, потому что выбора не было.

— Еще парочку можно... для подруг? — спросила женщина, и Денисов увидел, что ей года двадцать два — двадцать четыре.

— Бери, — разрешил он. — А где подруги-то?

— Вон гуляют.

Подруги независимо прохаживались поодаль. Обе были в тренировочных штанах и резиновых сапожках.

— Чем занимаетесь?

— Да ничем... Просто гуляем.

— А вам не хочется под ручку пройтись? — спросил Катynский.

— Погуляйте и нас тоже. Города мы не знаем. У вас есть тут какие-нибудь достопримечательности?



— Какие там... — усмехнулась женщина. — Разве что ямы... мы как раз в ту сторону идем.

— Пошли, — охотно согласился Денисов. Ему было все равно. Ямы, так ямы.

Подруги, словно услышав, повернулись и пошли впереди.

— Как вас зовут? — спросил Денисов.

— Фаина.

— Красивое имя, — одобрил Катynский.

— Да ничего... нормальное.

Фаина засунула сигареты в карманы кофточки и пошла чуть поодаль, заняв место между подругами и Денисовым с Катynским, так что со стороны было не понять, идут ли они вместе или просто все сами по себе движутся в одном направлении.

— Живете здесь? — спросил Денисов.

— Ага.

— И кем работаете?

— Дояркой на ферме.

— Как заработки?

— Ничего... нам двоим на жизнь хватает.

— Сын или дочка?

— Сын.

— А муж... в бегах? — догадался Денисов.

— Не-а. Отдыхает он у меня... на курорте. В колонии сидит в Новосибирске. В бегах — у Нинки вон.

Денисов посмотрел на худые Нинкины ляжки,двигающиеся под обвисшим трико.

— Ей же лет семнадцать.

— Восемнадцать. И сыну два года.

— Молодая мама...

— А что... дурное дело нехитрое, — брезгливо сказала Фаина.

— По какой статье мужик сидит? — деловито поинтересовался Катynский.

— Хулиганка.

— Вернется обратно — примешь?

— Да катись он... — четко определив, куда тому следует катиться, Фаина махнула рукой и лениво сморщилась.

— Ну, бог с ним, — примиряюще сказал Денисов. — Чем у вас народ-то занимается? Что подельывает молодежь в свободное время?

— А чем ей заниматься? Пьют. Вон... сзади топают.

Денисов посмотрел через плечо. Отстав шагов на пятьдесят, тащилась унылая группка ребят, человек пять. Даже издали было видно, что они в подпитии — начав в субботу утром, они к обеду достигли той кондиции, когда человек еще не пьян в лежку, но и трезвым его не назовешь. В таком состоянии он как раз способен на весьма сложные и неожиданные поступки.

— Бить вас собираются, — неожиданно сказала Фаина.

— Ну? — удивился Катynский. — За что же это?

— Думают, что вы нас клеите... ну, и руки размять хотят.

Устраивать потную возню в такую погоду Денисову совершенно не хотелось. Преследователей, очевидно, смущала странная расстановка фигур: подруги индифферентно шли на заметном расстоянии впереди, а Фаина двигалась метрах в двух от Денисова и Катynского, разговаривая с ними через плечо.

Так они шли по городу, то удаляясь от берега, то снова приближаясь к реке. Они прошли мимо ветеринарной станции, сберкассы и отделения «Сельхозтехники», во дворе которой громоздилась невообразимая куча ржавого железа.

Когда Фаина заговорила с ними, Денисов мог ручаться, что и у него, и у Катynского мелькнула одна и та же мысль. На сплаве, работая от зари и дотемна, они так выматывались, что и не вспоминали о женщинах, хотя месяц не видели их. Но ни Фаина, ни ее подруги не вызвали у сплавщиков никаких особых эмоций. Частично в этом была виновата глубоко засевшая в костях усталость, но, главным образом то, что эту троицу надо было первым делом хорошенько выстирать и проутюжить.

— Ну, вот и ямы, — сказала Фаина.

Улица кончалась огромной промоиной в высоком берегу. С сорокаметровой высоты Денисов посмотрел вниз. На мутной воде качались две моторные лодки. Периметр глубоко врезавшейся в берег дуги достигал метров трехсот. Подружки Фаины, все так же не поворачиваясь, сели на край промоины, свесив ноги и наконец закурили; пятеро сопровождающих расположились сзади и стукаясь поднятыми коленями, стали раскупоривать еще одну бутылку «Агдама» — самого популярного на сегодняшний день вина, заменившего светлой памяти «Солнцедар».

— А где же ямы? — спросил Катynский, осторожно глядя вниз.

— Вот здесь они и были.

— Чем же они... так знамениты в Толмачево? — спросил Денисов.

— В них трупы нашли.

— Слушай, Фаина, хватит нас интриговать. Что за трупы? Расскажи-ка все по порядку.

— Ну, чего там рассказывать... Берег тут подмывается все время. Осыпался, осыпался... и вдруг из дырки труп выпал. Старый, такой, высохший, мощи прямо. И поплыл себе. А за ним второй, третий... много их стало падать. Люди стали ходить. Смотрели, интересовались. Никто ничего не понимал... а старичок один вспомнил, что тут до войны было районное управление НКВД. Милиция забором все обнесла. Комиссия из Москвы приехала. Если опознавали кого-то, то выдавали для похорон...

— Многих опознали?

— Не-а, немногих. Учительница — дочку свою... По браслетику, черному такому, с цепочкой.

— Обожди. Сколько же лет им было, трупам этим?

— Ну, считай, с 39-го года. Значит, лет сорок они лежали. Но многие сохранились неплохо. Носов, конечно, не было, а от лиц чего-то осталось. Ну, и там украшения какие-то, одежда, ошметки разные...

— И сколько их было?

— Ой, много, точно не знаю. Говорили, несколько тысяч. Четыре ямы, и все широкие такие, большие. А может, тыся... Потом на их месте закрытый распределитель НКВД стоял.

— Кого там было больше?

— Все, кто хочешь. И мужчины, и женщины... некоторые даже с детьми.

— Как это — с детьми?

— Обыкновенно, как. Мать дите на руках держит — их так вместе и хоронили. Не живых, конечно. У всех — пуля в затылке.

— Так. Ну, и чем кончилось?

— Подогнали два пожарных катера... или их три было? Нинка, сколько водометов было?

— Два, — сказала Нинка, не оборачиваясь.

— Ну, да, точно, два. Они без малого месяца берег тут размывали. Трупы и потонули. Кто долго плавал, ловили баграми, привязывали железо какое-нибудь... и на дно. Уплыло тоже... хватало. Вы из Чавычино?

— Да. На сплаве там работаем.

— И до Чавычина доплывали. Потом их там из кустов выпутывали.

Денисов вынул пустую пачку из-под сигарет, выругался и бросил ее в промоину. Во рту было кисло.

Он подошел к расположившейся поодаль группке. Те уже распили бутылку и, вольно раскинувшись, лежали на траве.

— Закурить! — сказал Денисов, в упор глядя на высокого парня. Тот молча протянул пачку. — И спички! — Закурив, Денисов, не отводя взгляда, вытянул еще пару сигарет и молча бросил пачку обратно. — Вася, идем!

Солнце переместилось по небосводу, и теперь они шли в тени чахлой растительности.

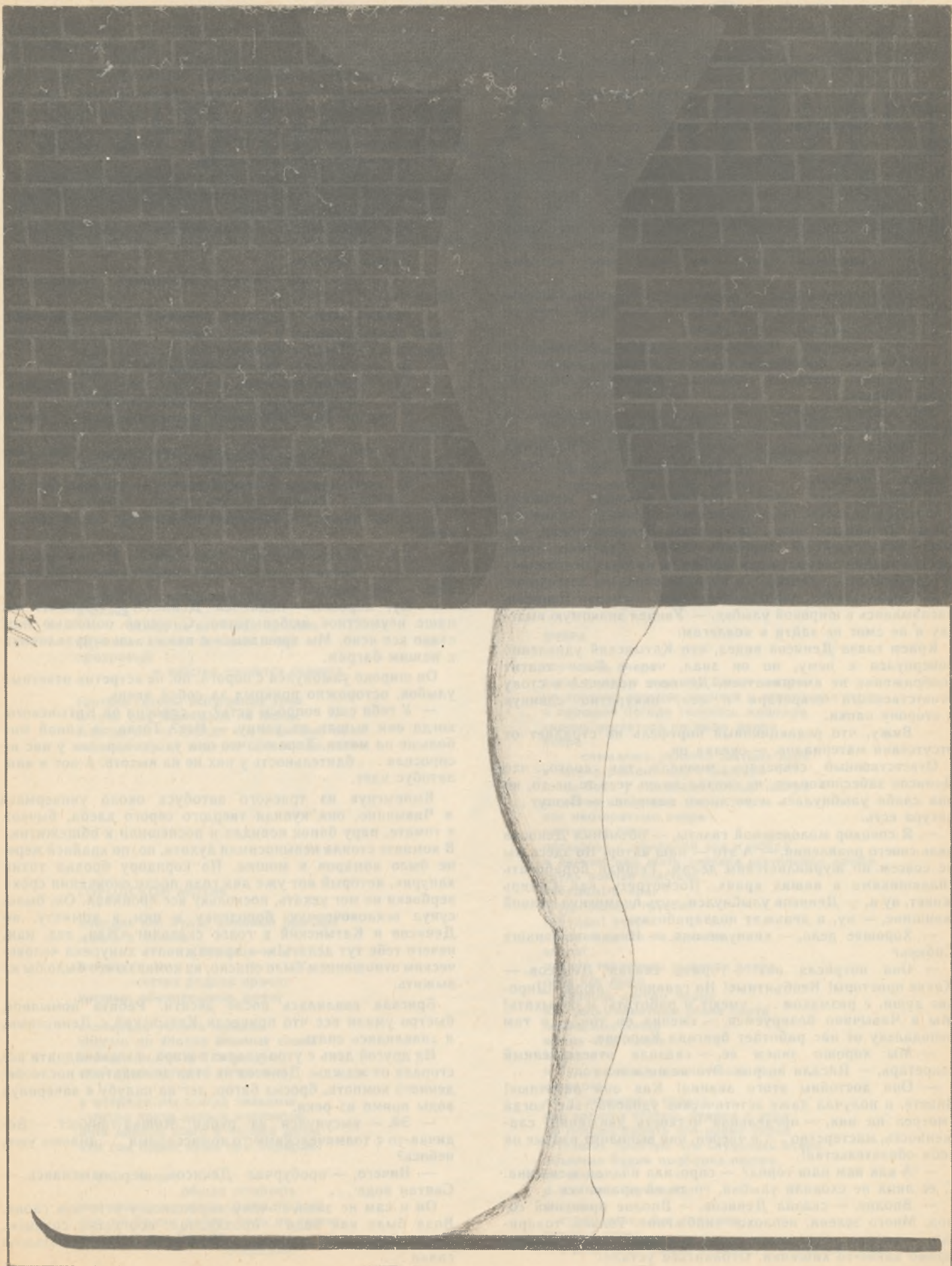
— Что ты об этом думаешь? — оборвав какой-то мотивчик, что он бормотал всю дорогу от промоины, спросил Катynский.

— Я ничего об этом не думаю, — четко отделяя слова друг от друга, сказал Денисов.

— Неужели тебя это не потрясло?

— Потрясло. Ну и что?







— Но ведь женщины... Матери с детьми...  
— А чего ты ждал?  
— Я не думал, что это... так выглядит.  
— Выглядит так, как и должно. Как и все остальное...  
— Но ты посмотри, как равнодушно к этому все относятся! Ведь это были чьи-то отцы, матери, дети... памятник им надо бы какой-то поставить!...  
— Да? Прекрасная мысль. И что же ты написал бы на нем?

— Ну... Что-нибудь вроде «Здесь лежат жертвы...»  
— Чьи жертвы? Вася, окстись! Оглянись — где ты живешь? Мудрое же решение было принято — смыть эту труху в воду, чтобы она не путалась под ногами. О, русская земля, уже за шеломянем еси... Из русской земли они вышли и в русскую воду легли. — Денисов снова сплюнул; во рту невыносимо жгло. — Фу, мать твою, стихами понесло!...

— Ты не прав, старик, — Катинский сокрушенно и серьезно покачал головой. — Не верю я, что никого это не тронуло и не задело в этом городе...

— Ну, подожди! Подожди! — Денисов остановился и прищурился, припоминая вывеску, которая только что промелькнула перед его глазами. — Сейчас ты все поймешь! Пошли!

Они открыли обитую войлоком дверь и поднялись на второй этаж по узкой скрипучей лестнице.

— Отдел писем, отдел партийной жизни, — бормотал Денисов, читая надписи на дверях, — это все не то... Зайдем к ответсеку.

В комнате было двое — грустная молодая женщина с прямыми волосами, подстриженными по моде двадцатых годов (по обилию папок на ее столе Денисов понял, что она — ответственный секретарь газеты «Северная правда»), и полная добродушная женщина, которая оторвалась от арифмометра «Феникс» и подняла глаза на вошедших.

— Здравствуйте, дорогие товарищи, — сказал Денисов, расплываясь в широкой улыбке. — Увидел знакомую вывеску и не смог не зайти к коллегам.

Краем глаза Денисов видел, что Катинский удивленно повернулся к нему, но он знал, что у Васи хватит соображения не вмешиваться. Денисов подошел к столу ответственного секретаря и сел, аккуратно сдвинув в сторону папки.

— Вижу, что редакционный портфель не страдает от отсутствия материалов, — сказал он.

Ответственный секретарь молчала так долго, что Денисов забеспокоился, не сказал ли он чего-то не то, но она слабо улыбнулась и согласно кивнула. — Пишут... автура есть.

— Я спецкор молодежной газеты, — объяснил Денисов цель своего появления. — А это — наш автор. Но здесь мы не совсем по журналистским делам. Решили поработать сплавщиками в ваших краях. Посмотреть, как Сибирь живет, ну и, — Денисов улыбнулся, чуть подмигнул полной женщине, — ну, и денюжат подзаработать.

— Хорошее дело, — кивнула она. — И как вам наша Сибирь?

— Она потрясла нас! — горячо сказал Денисов. — Какие просторы! Необъятные! Но главное — люди! Широкие души, с размахом... умеют и работать, и отдыхать! Мы в Чавычино базируемся, — сменил он тон, — и там неподалеку от нас работает бригада Киряева...

— Мы хорошо знаем ее, — сказала ответственный секретарь, — Писали не раз. Это наши маяки.

— Они достойны этого звания! Как они работают! Знаете, я получал даже эстетическое удовольствие, когда смотрел на них, — предельная четкость движений, слаженность, мастерство... я уверен, они выполняют взятые на себя обязательства!

— А как вам наш город? — спросила полная женщина. С ее лица не сходила улыбка, гости ей нравились.

— Вполне, — сказал Денисов. — Вполне приятный город. Много зелени, неплохое снабжение. Только, товарищи, — вы что, не кормите своих комаров? Они у вас тут прямо какие-то хищники. Отбиваться устали!

Женщины засмеялись: специфика Сибири.

Денисов осведомился о росте тиража, похвалил верстку, отметив, тем не менее некоторый ее провинциализм, указал ляп в информации на первой полосе.

— Ну, спасибо за привет-ласку, товарищи, — сказал он, приподнимаясь, — очень приятно было посидеть в знакомой атмосфере. Да, кстати... Мы тут побродили по городу и случайно услышали, что у вас тут было... не знаю даже, как назвать. Некоторое ЧП... ну, с этими трупами.

В комнате наступило молчание.

— Да, что-то такое было, — помолчав несколько дольше обычного, сказала ответственный секретарь и внимательно посмотрела в окно.

— Мы слышали, что их, трупов, было несколько тысяч...

— Разное говорят.

— А... кто они были? — осторожно осведомился Денисов.

— Разные люди, — пожала плечами полная женщина, снова углубившаяся в свои бумаги (бухгалтер, понял Денисов). — Нам не известно.

— Вы не пытались узнать, прояснить?

— Где? — резко спросила его ответственный секретарь.

— Ну... в горисполкоме, в горкоме, наконец...

— У нас не было оснований интересоваться... этими делами.

— Ну как же... Вы же журналисты, советские партийные журналисты.

— Те, кому нужно, интересовались, — сказала бухгалтер. — И было сделано все, что нужно.

— И как нужно! — внезапно подал голос сзади Катинский.

— Да, — резко ответила бухгалтер. — И как нужно. И вообще, простите, мы не видим необходимости беседовать на эту тему...

— Ну, хорошо, — поднялся Денисов, — Извините за наше неуместное любопытство. С вашей помощью нам стало все ясно. Мы прощаемся с вами... и отправляемся к нашим баграм.

Он широко улыбнулся с порога, но, не встретив ответных улыбок, осторожно прикрыл за собой дверь.

— У тебя еще вопросы есть? — спросил он Катинского, когда они вышли на улицу. — Нет? Тогда не капай мне больше на мозги. Хорошо, что они удостоверения у нас не спросили... бдительность у них не на высоте. А вот и наш автобус идет.

Выпрыгнув из тряского автобуса около универсама в Чавычино, они купили твердого серого хлеба, бычков в томате, пару банок повидла и поспешили к общежитию. В комнате стояла невыносимая духота, но, по крайней мере, не было комаров и мошки. По коридору бродил тихий ханурик, который вот уже два года после окончания срока вербовки не мог уехать, поскольку все пропал. Он, было, сунул всклокоченную бороденку к ним в комнату, но Денисов и Катинский в голос сказали: «Иди, дед, иди, нечего тебе тут делать!» — приваживать ханурика человеческим отношением было опасно, из комнаты его было бы не выжить.

Бригада ввалилась после десяти. Ребята помылись, быстро умяли все что принесли Катинский с Денисовым, и завалились спать.

На другой день с утра ударила жара, и к двенадцати все сгорало от жажды. Денисов не стал дожидаться послеобеденного компота, бросил багор, лег на палубу и зачерпнул воды прямо из реки.

— Эй, — высунулся из рубки Мишка-танкист. — Водичка-то с толмачевскими-то комиссарами... знаешь уже, небось?

— Ничего, — пробурчал Денисов, не поднимаясь. — Святая вода...

Он и сам не знал, почему вырвались у него эти слова. Вода была как вода — прохладная, прогретая солнцем. Пахла она тиной и еловой корой. В этом году шел большой сплав...



# ЮРИЙ КАСЯНИЧ

замордовали рыбку золотую  
куда ни глянешь

полчища старух  
открыв желаний сундуки  
лютую  
так что захватывает дух

и рыбка напряглась и бодрилась  
вершила столь великие дела  
что сказку сделать былью умудрилась  
а была  
быльем и мохом поросла

наутро его провожала гроза  
и плача

вслед на все небо кричала  
одумайся вымой слезами глаза  
прозреешь  
и счастье начнется сначала

топтала газоны испуганных трав  
и тучи ему выжимала на плечи  
молчал он не плакал и в этом был прав  
он знал что от слез не становится легче

## ГОРОДСКОЙ МОТИВ

очередь как будто длинный прочерк  
мысль в начале

а в конце итог  
очередь  
сестра родная прочих  
жизнью обозначенных дорог

в очереди учимся мужаем  
спорим до вполне опасных спазм  
в очереди быстро остужаем  
свой сверхделовой энтузиазм

в очереди мы всегда знакомы  
чувство локтя цель и коллектив  
путь длиной всего в четыре дома  
кто там порет чушь про перерыв!

в лицах наших  
общая усталость  
как прекрасно жить среди людей!  
что же будем делать коль не станет  
дружных как борьба  
очердей!

перемены временем оплачены  
в воздухе горчит от прошлой пыли  
социалистические лавочки  
в стартовом молчании застыли

как смешались бодрый марш и рекем  
плод далек

в соцветии запряган  
в головах вчерашние прорехи  
а в карманах из купюр заплаты

## ВЧЕРА

случилось вчера  
закат падал в окна как блики костра  
на кончики пальцев садился и вспархивал страх  
к хорошей погоде толклась мошкара  
сирень отцветала по краю двора  
вчера

сломалась рулетка застыла игра  
в загале ремонтники и мастера  
лишь боль у плеча как ночная сестра  
с тобою не поняли мы ни черта  
как неотвратимо вчера  
наступила пора  
прощанья с комедией зла и добра  
и дальше нам жить зеркала иступленно дробя  
грудь полная счастья!  
забудем! вчера!  
грудь полная грусти!  
забудем! вчера!  
объятий венки на могилах  
вчера!

разлук телефоны умолкли вчера  
луна как дыра

полночь дегтем черна  
как тень гильотины упала черта  
жизнь кончилась  
жизнь стартовала  
вчера  
и будет восход словно света гора  
не верю  
он на обещанья горазд  
как водится станем мудрее с утра  
но поздно рядить кто икону украл  
в газетах прочтем что случилось вчера  
обычные будни подборка пестра  
ни слова  
о том что случилось  
вчера

стремглавен бег времени  
стрелка остра  
с неистойвовой болью сползает с деревьев кора



Эти строки из своего последнего сборника стихотворений «Мелодии тишины» (1941) К. Скалбе писал, вспоминая страшную ночь 14 июня 1941 года, когда тысячи людей были грубо выхвачены из своих домов, оторваны от Родины.

Те мученики, что с тобою  
прощались, отчий край, в те дни,  
как имя матери святое,  
шептали «Латвия!..» они.

Одним из этих мучеников, чье имя продолжает славный ряд имен Александра Грина, Лиготню Екаба, Арниса (Эрнеста Рунциса), Леонида Брейкша, Роберта Кродерса, Лудвига Адамовича, Алфонса Франциса, был воистину интеллигентный, глубоко демократичный, трудолюбивый и бескорыстный книгоиздатель Янис Розе (1879—1942). В его программе и деятельности книгоиздателя не было места недемократическим тенденциям и утилитарному расчету. Издавал ли он хорошую литературу или «рыночный товар» невысокого уровня, собрания сочинения Я. Акуратерса, А. Аустриньша, А. Деглавса, Я. Порукса, К. Скалбе и А. Саулетиса, серию «Молодой ученый», дешевые издания художественной литературы для молодежи, школьные учебники, — труд Яниса Розе достоин того, чтобы этот книгоиздатель занял причитающееся ему место среди выдающихся издателей латышской литературы. С 1928 по 1935 год его издательство выпускало и литературный жур-

нал «Пиесауле» («На солнцепеке»), в котором публиковались почти все известные авторы того времени. С середины 1940 года, после национализации своего издательства, типографии и книжного магазина (что годом позже послужило поводом для его депортации как крупного собственника в соликамские лагеря) Янис Розе работал техническим редактором. Но даже лояльное отношение к новому строю, который принес ему немало бед, даже честный труд в условиях сталинского «казарменного социализма» не могли отклонить безжалостного и несправедливого меча, занесенного над латышской демократической интеллигенцией. То, что случилось с Янисом Розе после 14 июня 1941 года, описывает в своих воспоминаниях чудом переживший лагерные времена историк Владислав Уртанс. Воспоминания о личности и деятельности Яниса Розе накануне его 110-летия вызывают в памяти строчки его друга, К. Скалбе:

«Настанут времена другие,  
Высокое восстанет вновь.»

Можем ли мы поверить в пророчество поэта, читая эти ужасающие строки воспоминаний В. Уртанса? Не знаю, но хотелось бы верить, ибо горечь и скепсис не приносят плодов...

ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС

# ВЛАДИСЛАВ УРТАНС

## ПОСЛЕДНИЙ ГОД КНИЖНИКА ЯНИСА РОЗЕ

Прошло сорок шесть лет с тех пор, как дикие таежные звери обглодали кости известного латышского книгоиздателя Яниса Розе, и мы стали все чаще вспоминать и славить его. Теперь статьи о нем опубликованы в газете «Литература ун Максла» (1987, №№ 30 и 32). Есть идея назвать бывшее книгоиздательство на улице Кришьяна Барона, с которым связаны судьбы многих латышских писателей и художников, именем Розе. Это там, где теперь находится магазин «Дзинтарс».

Может быть, пригодятся и мои воспоминания о последних месяцах его жизни, поскольку вряд ли остался в живых хотя бы еще один свидетель.

Яниса Розе, как и меня, арестовали в ночь с 13 на 14 июня 1941 года. Вооруженные люди увели и членов его семьи. В тяжелой машине пленников доставили на станцию Торнякалнс, где их ожидали специально приспособ-

ленные вагоны для скота с двухъярусными нарами и парашей в конце узкого прохода. Вагон освещался грустным солнечным лучиком, который пробивался сквозь узкую, выпиленную в стене щель. Она была справа от входа, под самым потолком.

Уже на станции совершеннолетних мужчин отделили от их семей. Никто толком не мог понять, что происходит.

Меня, тогда — второкурсника университета, втокнули последним в тот вагон, где уже находился Янис Розе и еще 30—40 человек. Чтобы было просторнее, все забрались на нары. Военные в синих фуражках, галифе, высоких сапогах и с револьвером на боку носились без усталости, распределяя охранников и новых пленников. Ничего нельзя было разглядеть, кроме вагонов для скота, вооруженной охраны возле каждого вагона и уже упомянутых подвижных офицеров

в синих фуражках. Позднее кто-то в вагоне сказал, что мы находимся на станции Шкиротава. Значит, наш вагон перегнали. Сколько на самом деле было «виновных» и членов их семей, кто были эти люди, арестовавшие и вывозившие нас, рассказал ли кто-нибудь из них о своем «подвиге» 14 июня устно или письменно — об этом я не слышал и не читал. Об этом молчат историки, кинодокументалисты, художники и писатели. Возникает еще и сегодня ощущение, будто «знает кошка, чье мясо съела». Директор нашего Института истории В. Каралюнс пытается изобразить эту трагедию нашего народа как юридически обоснованную и гуманную в своей статье «О перемещении противников Советской власти, капиталистических и деклассированных элементов 14 июня 1941 года» («Рокотные годы Латвии», II, Рига, 1988, стр. 69—82), а также в своем интер-



вью журналу «Наука и техника» (Рига, 1988, № 6, стр. 6—7). Он оправдывает, искажая факты и выдавая желаемое за действительное, но все это не выдерживает критики. Вот примеры. «Не было ни арестов бывших государственных деятелей, ни судебных процессов против них... Советская власть не карает за старые грехи». Выходит, К. Ульманис, Балодис с женой, В. Мунтерс с женой и прочие поехали в Россию добровольно? Как было на самом деле, можно было еще несколько лет назад спросить у генерала Балодиса и его жены, бывшего министра иностранных дел В. Мунтерса и прочих, кто после долгих лет ссылки вернулся в Латвию. «Никакой дискриминации по отношению к ним (высланным — В. У.) со стороны местных жителей — сибиряков я тоже не заметил... Единственное ограничение — не покидать отведенного им района». Тенденциозность, замешанная на лжи и наивности! Высланных (в том числе и в Назаровском районе, где после лечения проживал теперешний директор) направляли на самые тяжелые работы, платили меньше, чем местным жителям, считали их «фашистами, из-за которых началась война, из-за которых гибнут родные и близкие». На какую жалость мог рассчитывать высланный? Обо всем этом свидетельствуют документы. В конце концов, можно расспросить тех, кто вернулся домой. Может быть, стоит процитировать еще один документ, о котором историки новейшего времени умалчивают, теряя тем самым и без того подмоченную репутацию. «**Распоряжение.** В связи с законом 1938 года о порядке и безопасности в стране, кабинет министров на заседании 31 июля принял решение выслать за пределы Латвийской Советской Социалистической Республики и отправить в Союз Советских Социалистических Республик бывшего военного министра Латвии генерала Яниса Балодиса вместе с членами его семьи. Распоряжение входит в силу с 31 июля 1940 года. Рига, 31 июля 1940 г. Вилис Лацис, и. о. премьер-министра.» В вышедшей совсем недавно, в 1986 году, «Истории Латвийской ССР», во втором томе, событиям 1941 года уделили только один абзац, да и тот не выражает сути дела (Рига, 1986, стр. 172—173).

Но я уклонился от главного — от воспоминаний о Тебе, отец Розе. О своей доносчице студентке Леонтине Пунке, которая еще совсем недавно жила в Межапарке, я узнал двадцать шесть лет спустя после моей реабилитации, а Янис Розе не узнает имени доносчика никогда. Мы похоронили Яниса Розе за лагерем «Могила» в мае 1942 года, а судили его заочно и незаконно 13 февраля 1943 года... Так и написано черным по белому. «Особое совещание при НКВД», в ко-

тором обычно участвовало три чекиста-курсанта, было нам совершенно незнакомо, они, в свою очередь, нас в глаза не видели, судили заочно, иногда выдвигая совершенно фантастические обвинения. Какая уж тут законность! А многие современные историки никак не освободятся от лжи сталинских времен, даже пытаются протащить ее в сегодняшние публикации, прячась за словами о гласности, перестройке, демократизации, не забывая цитировать в демагогических целях и кого-нибудь из классиков марксизма или решения съезда (конференции). «Сталинские ленинцы» хотят править, как прежде, и они первыми успели «перестроиться».

Не у нас, реабилитированных, просят прощения (но нужна ли реабилитация детям, старикам и женщинам, которых даже не судили?), а нам приходится писать прощения нашим мучителям. В голове это не укладывается...

Когда 14 июня 1941 года меня последним затолкали в вагон для скота, я впервые встретился с седовласым Янисом Розе. Люди говорили, что мы находимся возле Шкиротавы. Мне не нашлось места на двухъярусных нарах, три ночи я спал на полу возле параша. Я был двадцатилетним студентом, и мне было стыдно просить у пожилых, недавно всеми уважаемых людей места на нарах или порцию еды, которую приносили в ведре... В первый день никто о еде и не думал, люди плакали, вспоминали покинутых близких. Я сидел возле параша лицом к щелке. Когда поезд шел, через щелку пробивался свежий воздух. Мне сперва сильно хотелось есть, потом я вроде бы бредил, и есть уже не хотелось.

Пока другие причитали и рассказывали, какие вкусные кушанья раньше стряпали, шестидесятирехлетний худощавый и глуховатый житель Пиебалги Янис Розе молча сидел у дверной щели и наблюдал за облаками.

Там, за дверью, было солнце, в щель виднелись белые облака. Заметив, что я не ем, он спросил, что со мной. Я ответил, что мне нечего есть. Тогда Янис Розе и лежавший на нижних нарах полковник Эраст Йиргенсон помолчали, подумали и негромко, но решительно попросили всех отдать мне мою часть от общей еды. Я проглотил все как зверь. Какое-то время спустя Янис Розе позвал меня понаблюдать вместе с ним за облаками, в которых он разглядел древнего латышского воина. Сперва я его не видел, но потом мы оба любовались и древним воином, и медведем, и конем, и прижавшейся к яблоне сироткой.

Я не видел, чтобы Янис Розе когда-нибудь ел.

После страшного похода «по этапу» в сопровождении вооруженной охра-

ны и овчарок мы с Янисом Розе встретились в лагере «Чертеж» (наверно, производное от слова «черт»), возле Соликамска, поблизости от Южного Урала. Там было четыре лагеря для высланных из Латвии — для латышей, евреев, русских, поляков, цыган, литовцев, представителей других национальностей. Один лагерь другого хуже. Мы не знали их официальных названий, пользовались теми, что были в ходу еще до нас: «Соликамск», «Чертеж», «Прижим», и, наконец, «Могила». Мало кто вернулся из последнего лагеря. Туда помещали стариков, инвалидов, немощных. Соликамский лагерь был самым обширным, там даже были капитальные бараки. Это был пункт распределения высланных. Здесь высланные голодали и мерли друг за другом. В Соликамске заключенные долго не задерживались. Здесь их распределяли по окрестным лагерям. В Соликамске добывают соль. Вода здесь очень соленая. Изголодавшиеся сосланные, чтобы хоть чем-то наполнить желудок, пили эту воду. Но чем больше пьешь, тем больше пухнешь, а пить опять хочется. Опухшие люди бродили, как призраки, и умирали один за другим. С утра, пока высланные еще спали, специальная команда вывозила тех, кто умер накануне, и закапывала за лагерной оградой в неглубокой яме.

Янису Розе, как и мне, удалось преодолеть эти врата ада. Мы «по этапу» попали в лагерь «Чертеж». У меня не было ни одежды, ни обуви, ни съестного. Потому я вызвался выполнять самую тяжелую работу — там можно было хоть что-то заработать. В конце лета 1941 года мы, четырнадцать мужчин, под наблюдением двух вооруженных охранников косили сено на таежных вырубках. Там росла и малина, есть которую нам запрещали. Я все же умудрялся за время сенокоса не только наесться ягод, но и собирать их в бутылку, спрятанную между ног. На проверках ее ни разу не нашарили. В лагере за малину можно было купить что-нибудь из одежды, обувь или даже еду.

Янису Розе тяжелый труд был не под силу. Он мыл посуду на лагерьной кухне, полы, таскал воду. Как-то вечером, вспомнив о том, что седовласый старик, известный в Латвии книжник, был внимателен ко мне во время нашего пути неизвестно куда в вагоне для скота, я решил тайком отнести ему немного ягод. Посторонним запрещалось заходить на кухню, и потому я подождал его поблизости. Дождлся. Янис Розе, в полосатой летней куртке и темных штанах, сперва не хотел брать ягоды, потом все же, как бы нехотя, взял. Каждую ягоду он съедал так, как будто сперва ласкал ее взглядом из-под полуприкрытых век. Я уже собирался



уходить, когда он поймал меня за полу и тайком вынес с кухни тарелку супа из черемши, припасенную им. Я съел эту нещадно вонявшую черемшу — она по своим свойствам напоминает чеснок. Черемшой нас кормили зимой и летом, каждую неделю, каждый день. Жира в этой похлебке мы не замечали. Многие люди не могли ее есть.

Как-то вечером, когда все уже повалились на свои голые нары, я видел, как Янис Розе, закатав рукава и опустившись на колени, очень старательно моет тряпкой кухонный пол. Котлы он уже натер до блеска. Так сильно в нем было чувство долга, что бывший книжник уходил спать последним, когда уже было темно.

Прошло около года. Обессиленный работой в двух лагерях, он вместе с другими стариками и изнуренными высланными прошел много километров «по этапу» в сопровождении вооруженной охраны в лагерь «Могила», где ему предстояло умереть. Меня тоже отправили туда — как более сильного и по собственному желанию. Мне пришло в голову, что в лагере «Могила» я, может быть, смогу помочь давнишним моим доброжелате-

лям Янису Розе и Эрасту Йиргенсонсу. Из всех пяти лагерей этот был самым страшным. Здесь умирали один за другим. Гробов не было. Полуголых мертвецов грузили на саночки, а то и просто тащили за руки и ноги на пригорок за лагерем. Не было хлеба. Старики плели лапти и ели тот слой древесины, что был под лыком или корой. Ложки вырезали сами, а черпак черемши, поскольку мисок не было, иногда вливали в шапку или просто выливали на стол. В самодельной больничке не было медикаментов. Доктор Алкс делал операции обычным столовым ножом. Практически все были больны, но врач мог освободить от работы только несколько процентов больных.

Летом, а длилось оно пару месяцев, у обессиленного могильщика еще была надежда вырыть неглубокую яму, но зимой промерзшую сибирскую землю лопата не брала. Я вырубал углубление в земле, быстро засыпал труп смерзшимися комьями и толстым слоем снега, так, чтобы этого не заметил часовой на вышке. Простите, простите меня, погибшие! У меня не было сил похоронить вас по-человечески — мне ведь так хоте-

лось жить! Может, было бы справедливее, если бы на вашем месте, лицом к Родине, лежал я.

Настал час Яниса Розе. Мы уже могли безошибочно предсказать, кто умрет в ближайшее время, хотя сам человек в это не верил и выражался связно. Как-то, видимо, майским вечером, когда после тяжелой работы в лесу мы вбежали в темные сени барака, Янис Розе, уже ослабевший, встретил меня. Вытащив изо рта золотые зубы, он протянул их мне, сказав, по обыкновению, тихо: «Не отдавай русским!» Мертвым обычно приходилось расставаться с золотыми зубами. За хранение золота нам грозило суровое наказание. Я не принял подарка. Янис Розе подошел к стене и засунул отвергнутый мной дар в щель между бревнами. Мы взглянули друг на друга, и Янис Розе побрел умирать...

Вскоре знаменитого латышского книжника, полуголого и без гроба, похоронили. Это было в мае 1942 года. Только не в Соликамске, как писал Виестурс Вецгравис («Литература ун Максла», 1987, 24 июля, стр. 10), а за много километров от него, на пригорке, справа от лагеря «Могила».





# ЕВГЕНИЙ ОРЛОВ

ХУДОЖНИКУ

Автору «Утро...»

... А зря медведей он пририсовал!  
И если уж чего-то не хватало,  
так это — лунных пятен на снегу...  
и мысли ненавязчивой о том,  
что человек — не главное в пейзаже,  
тем более — в облики медведя.  
А было б в нем хоть капельку Куинджи —  
не стала б жизнь — оберткой от конфет,  
лежащих у мальчишки под подушкой...

Я день открыл — как новую планету  
и вглядывался в лица, как в рельеф,  
и рисовал пейзажные портреты,  
и создавал пейзажный барельеф...  
А вышел — анекдот...

Как старый воин  
он был засален, выжат и измят,  
и как восход — и важен, и пристоен,  
и вял, и в кровь исхлестан, как закат...

Шкатулка черная, серебряный паук —  
не знак, а так, причудливая роспись,  
а косит глаз и производит опись  
моих любовей и моих разлук.

Как им живется там, на самом дне  
глубокого, бездонного кармана?  
Оборванный, как нищенка, конверт...  
Пустая, как девица, телеграмма...

У них — своя особая судьба.  
Теперь — тихонько звать пора настала...  
Паук, откинув сеть волос со лба,  
глядит, как ресторанный  
вышибала.

Актеру

Это больно — не от боли,  
а само и по себе:  
отдают другому роли,  
что написаны — тебе.

Ты, лишенный права речи,  
умудряешься сказать:  
с добрым утром, добрый вечер —  
и уходишь в тень опять.

Зал качается, как море,  
и толпа уносит вдаль  
это сердце, это горе,  
этот проклятый корабль...

Молчи, молчи, бродячая душа,  
желтком послушным в тонкой скорлупе,  
и вызревай, как птица, не спеша —  
еще успеешь крикнуть о себе.

И если убежишь сквороды  
и гордо воспаришь над скорлупой,  
еще о «птице-тройке» скажешь ты  
и о «дороге длинной», вечной, той...

Молчи пока, не время птицам петь...  
Их вопли из потрескавшихся тел  
на волю выпускает только смерть  
с посмертным: «Много мог, да не успел...»

Посередине скотного двора  
резвятся куры и пишат птенцы,  
и белый пух на гребне топора  
всех возвращает в мир  
тире и цифр.

Когда б я знал, что все сойдет на нет,  
что высь слена, как мой сосед по парте,  
раскрашивавший контурные карты  
в однообразно-безобразный цвет,

когда б я верил в непричастность слов —  
к тому, как раздается в одночасье  
любовь — любой из тысячи голов,  
бровей, затылков, ног и рук — на счастье,

когда бы жил — не зная смерти, не  
предчувствуя ее, не ощущая  
дыхания, реальнее вдвойне  
пустяшных вздохов ада, вдохов рая —  
я б оказался — в сказочной стране,  
где все — поэты. Пусть — не знамениты,  
но бытие — не растворяют бытом,  
и пьют, как воду, память о весне...



## СИЛА

Озаряет эпителиальную темень, как будто укус замагниченный бешенством передвижения по одновременно: телу, почти обращенному в газ, одновременно: газу, почувствовавшему упор.

Это сила, которая в нас вызревает и вне, как медведь в алкогольном мозгу и — опять же — в углу искривившейся комнаты, где окающая снедь; созревает медведь и внезапно выходит к столу.

Ты — прогноз этой силы, что выпросталась наобум, ты ловил ее фиброй своей и скелетом клац-клац, ты не видел ее, потому что тащил на горбу и волокна считал в анатомии собственных мышц.

В необъятных горах с этим миром, летящим на нет, расходясь с этим миром, его проникая в пути, расходясь, например, словно радиоволны и нефть, проникая друг друга, касаясь едва и почти...

ты узнал эту силу: последовал острый щелчок, — это полное разъединение и тишина, ты был тотчас рассеян и заново собран в пучок, и — еще раз щелчок! — и была тебе возвращена

пара старых ботинок и в воздухе тысяча дыр уменьшающихся, и по стенке сползающий вниз приходящий в себя подоконник и вход в коридор тьмою пробранный вглубь, словно сваленный кипарис.

## ЗАЙЦЫ

Ребенки — зайцеобразны: снизу два зуба, а щеки! Так же и зайцы — детоподобны. Злобны зайцы и непредсказуемы, словно осколки серы чиркнувшей спички.

Впереди мотоцикла и сзади — прыг-скок! — живые кавычки! После октябрьских праздников по вечерам они сигают в мой сад, наисмелейший проводку перегрызает и, сам чернея, отключает свет. Я ж защищаю саженец северного синапа от их аппетита в одиночестве полном, где нету иллюзий единства и авторитета, и сколько-то старых привычек не противоречат всякой новой привычке.

Я покупаю в хозяйке мешок мышеловок — розовые дощечки с железным креплением, как сандалия Ахиллеса — где пятка мифологическая, там у меня для приманки насажен колбасный кружок.

А на заре обхожу мышеловки — попадают бабочки и полевки, и неизвестного вида зверьки типа гармошки в роговой окантовке. Всем грызунам я горло перерезаю и вешаю их над ведром головой вниз,

чтобы добыть множитель косоухого страха — кровь крыс. Скишую кровь я освещаю и побелочной щеткой мажу остоны и скелетные ветви погуще, так, чтоб стекало с коры. В сумерках заячье стадо вокруг сада лежит, являя сомнений бугры, — да! — ни один из них не пойдет хоть за билет в новый ноев ковчег через ограду — столь щепетил и подавлен мой враг. Ножницы-уши подняли и плачут, а я в жизни не видел зайца и крысу в обнимку!

Я же падаю в кресло-качалку листать руководство по садоводству. днем тепло еще и ужи — змеями здесь их не называют — миллионы км. проползают под солнцем, не сходя с места, вот они на пригорке царят и, когда я их вижу, внезапно, словно чулок ледяной мне одевают — это хвоцевое чувство.

Ух! Книгу читать, думать или вспоминать, а я выбираю — смотреть!

Сразу я забываю зайцев осадных и яблоню, я забываю того, кого вижу.

Что это в небе трепещет леса повыше и солнца пониже! В этом краю, где женщины до облаков и прозрачны, зрю ли я позвонок, что напротив пупа и золотое меж них расстояние, линию, нить, на какой раздувается жизнь на хромосомах, как на прищепках — X, Y..., вдруг отстегнется и по земле

волочится краем, как пододеяльник пустой, психика чья-то — на то воля Господня.

Там образуются души и бегут в дождевиках как стрекозах — мальчишка-кислород и девочка-глюкоза.



## БЕГСТВО

Кто утром меня через город провел за собой!  
За стол усадил в привокзальном буфете, стол — пять досок.  
Бутылка чудесная! Хрустнула пробка с резьбой.  
Ходит кадык, будто со стыками рельс я разделил глоток.

Тыквы на тыне. Казалось мне, эликсир  
слабоумья — в картошке. Нет, в тыкве, сходящей на бас!  
Внутренний пламень неясный в ней колесит,  
мякоть, как пальцы, она загибает, чтоб сосчитать нас.

Далее — ящики с молоком. Молочные ободки  
зыркнули эллипсами, когда покачнулись бутылочные штабеля.  
Формы сохранены взаимностью и себе вопреки.  
Бездна снует меж вещами, как бешеные соболя.

Ящик ажурный, отброшенный, резко пустой,  
полный своей испаренностью. Гвозди в доске.  
Дух неизбежности кучился всюду простой,  
проще, чем будут продавлены крышечки на молоке.

Мы ощутили, а может, догнали потом —  
нами прошла расширяющаяся ось,  
словно океанических пастбищ легкий планктон,  
солнце посасывая, ворочаясь среди толщ,

нами прошли [ничего мы не знали о них],  
нами прошли беспризорники сердца в тиши,  
в наших телах, в этих чуточках мира затих  
гул их шагов... я давал им питье и гроши...

Шли. И горела на них искушенная пыль.  
Последний вдруг задержался и глянул на нас в упор.  
Выл ристалищный ветер. Я с ними пошел, как был,  
в край пунктуальных птиц, в свет перелетных гор.

## ДАЧНАЯ ЭЛЕГИЯ

На море дача. Разлитая чача. Мяуча и хрюча,  
цокая и громыхая [меняют баллон в гараже!  
еж и консервная банка! лопнула статуя!]  
ночь козырнула ракетой и сетью цвета зелени  
сграбастала воздух.

В результате перестрелки  
вертолеты гулкие, как пещеры,  
бэтээры и векторные приказы  
сразу исчезли,  
лишь провода  
торчат из углов, точно рачьи усы...

Он остался один  
на стуле [такой же в гробнице Тимура у билетерши],  
куда убежишь! — только в собственный череп,  
подобно спирту.

От солдат — коромысла мочи на стенах.  
Хлам повсюду. Где утренняя проверка!  
Копошится зеленое море в зеленых евгенах,  
золотистая корка на гребне волны, как фанерка.  
Сила уходит через распахнутые ворота.  
Сила уходит, являясь тому, кто зряч,  
в виде короны на моментальном фото,  
где в молоко угождает теннисный мяч.  
На вертикаль соскальзывают щеколды.  
Сила уходит... Крики чаек, скрип.  
Всюду вечность мелькает, и от этой щеколки  
задыхается время и выбранный мною тип.  
Когда покидала сила зернышко на столе,  
подымался уровень моря и в окнах — танкеры.  
— Вставай, — он услышал, а снилось, что на осле  
он в город въезжает, — вставай, занимайся панками!  
Он видит шествия многогории.  
Густая обволочь перед ним, не проснуться никак.  
Скользят они черепными коробками.  
Хохол, как вставленный финак.

Дача. Гордый кот, как намытый прибором. Акула  
рядом. Меж ними ни духа ни сна.  
Вспомни, начальник, как грело мерцанье посула —  
юность, ватага Катулла, загадка вина!  
Можно махнуть любимыми в этом Египте  
или заочно для кайфа — скелетами,  
может быть, станет политика гибкой,  
но продолжал он указами драться с памфлетами.  
Раньше был воздух рук вокруг, хоры с подносами,  
с отвесными косами, напоминающими сверло,  
врачи со шприцами, пионерки с розами,  
таблетки японские, чтоб не развезло,  
было в походе — высокомерие,  
переходящее в сон по секундной стрелке,  
и — спортсмен! — он ковал водяные перья,  
царуя на глассере по заводи мелкой.  
Когда выбегал он к оленю, ножами обросши,  
мешкал олень, планом спасенья ветвясь,  
потом делал так, словно хлопал в ладоши, —  
паф! — обрывая связь  
с небом, выкидывая колени, копыт клеммы,  
шлеп по голени! — ну, танцор!  
А он ценил в себе Голема —  
заводную рубашку, снятую с отцов.  
Надо было точку ставить, а он — запятую.  
Как пятка падающего колосса  
за собой оставляет, именно такую.  
Он забавал ее во имя прогресса.

А теперь вокруг пальца обводит его вода,  
искажаясь, от него отвернулись камни,  
цепь логическая — их гряда  
исключает его [и этим близка мне].  
И его наушница — леди Макбет —  
в одеждах из золотой коприки,  
ненавидит его, но как бы  
жалеет и подбавляет спирта.  
От него отвернулась стенобитная молодежь,  
его свет не замечает, звезда не кусает,  
всякий атом, что был на него похож,  
теперь похож на другого — ему — осанна...  
Сила уходит... Когда уходил Леонардо,  
в обмен насыщались народы, пейзажи щедро,  
его пропускали в себя оболочки и ядра,  
как сфера пытливая, он прогибался от ветра,  
надеясь величием свет, дирижабли, луны,  
он шел, будто против взбешенной форсунки,  
шел в гору, и словно собою натягивал струны,  
и осуществлялись ореховые рисунки...

Притормозись. Остановись. Поймай центр,  
зафиксируй его и тогда тронешься с места.  
Шоссе поблескивает, как мечтательный пинцет.  
Вечность — только начало уже завершенного жеста.  
Вспомни утреннюю, дымчатую, непуганную пойму,  
и кристаллы красот от выпаренных богов,  
где кусаки кочуют [только внешне спокойны],  
от наследных красот изнывая, — их жребий таков.  
Гравитация — вот кто! — нас держит на привязи.  
В чуткой схваченности шелохнешься едва.  
Путь договорив, а все же не смог тебя вывести.  
На бетонках отчизны изваян твой нрав и права.  
Как пузырь, оболочкой боясь наколоться на радиус,  
гравитация бродит вокруг тебя, ожидая,  
что ты выпрыгнешь в небо, светясь и радуясь,  
предаваясь ему и с ним совпадая,  
гравитация ждет своей части природы,  
чтобы выпрямить нам кривизну осанки,  
учащает обороты,  
набрякает луна с изнанки.

Он застыл на веранде. Группа каштанов.  
На столе дорогой атлас ветер листает.  
Колотятся в разное масштабное,  
один и тот же план туда-сюда летает  
меж небом и страницей, будто картошка,  
которую подбрасывают, остужая.  
На каждой странице — одно и то же:  
дача: маленькая, большая.  
Слышишь: осколки стеклянных галерей,  
каблуки, моторы, челюсти тлей...



# АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ

## МЕМУАРНЫЙ РЕКВИЕМ

1.

От поясов идущие, как лепестки, подмышки бюстов, бокалы с головами деятелей, — здесь с принципиальной тьмой ты перемешан густо, каштаном в головах оправдан будешь весь. Но в бессезонной пустоте среди облакоходцев терпением стянут ты, исконной силой лишь, так напряжен Донбасс всей глубиной колодца, 9,8 «жэ» — и в Штаты пролетишь. Ты первой смертью осмелел стремления и планы. Ты помнишь наш язык! Ступай, скиная флаг. Как в водке вертикаль, все менее сохранили черты твои. Ты изнашивал замкнутый круг!

2.

Как будто лепестки игрушечной Дюймовочки, подмышки бюстов — лопасти. Я вспоминаю миг: как сильный санитар, ты шел, на лоб воздев очки, толкая ту же тьму, что за собой воздвиг. В азовские пески закапывая ногу, ты говорил: нащупана магнитная дуга. И ты на ней стоял, стоял на зависть югу, и кругосветная была одна твоя нога. Ты знал про все и вся, хотя возрос в тепличности, ты ведал от кого идет такая нить. Идол перемчивости вяз в твоём типе личности, его синхронность ты не мог определить.

3.

У мира на краю я был в покатой Арктике, где клык, желудок, ус в ряду небесных тепл распространяются, но кто кого на практике заметил и сманил, догнал, принудил, съел! Неведомо. Здесь нет на циферблате стрелок кроме секундной, чтоб мерцанием отмерять жизнеспособность там, где Лены пять коленок откроет мне пилот, сворачивая вспять. Там видел я твою расправленную душу, похожую на остров — ни души! Ты впился в Океан. Тобою перекушен ход времени, так скал ты челюсти в тиши.

4.

Ты умер. Ты замерз. Забравшись с другом в бунгало, хмельной, ты целовал его в уста. А он в ответ — удар! И бунгало заухало, запрыгало в снег. Удары. Частота дыхания и злость. Ты шел со всех сторон, ты побелел, но шел, как хлопок на Хиву. Но он не понимал. Сломалась печь. Твой сон унес тебя в мороз и перевел в траву. У друга твоего глаз цвета «веронезе», в разрезе он слегка монголовит. Его унес спидзай в стремительном железе. Лежал ты искверканный, как выброшенный щит.

5.

Прозрачен, кто летит, а кто крылат — оптичен. Язычник-октябренок с муральем. Стоишь. Догадкой увеличен, похоже, дальний взрыв вы видите вдвоем. Мир шел через тебя (ты был, конечно, чанец), так цапли, складывая шею буной «зет», нам шлет на выходе, при взлете облегчаясь, зигзаг дерьма — буквальный свой привет... Ну, улыбнись, теперь и ты — в отрыве. Ты сцеплен с пустотой наверняка. Перед тобою — тьма в инфинитиве, где стерегут нас мускулы песка.



6.

В инфинитиве — стол учебный и набор приборов, молотки на стендах, пассатижи, учителя подзорные в упор, в инфинитиве — мы, инфинитива тише. И зоокабинет — Адама день вчерашний, где на шкафу зверек, пушистый как юла, орел-инфинитив с пером ровней, чем пашня, сплоченная в зрачке парящего орла. Наш сон клевал Нерона нос неровный, нам лстыла смерть в кино, когда принц крови — Кромвель падал с кровли, уславаясь нами без следа.

7.

В год выпуска кучуясь и бродя вразвалку, пятали мы собой заезжий луна-парк, где в лабиринте страха на развилке с тележки прыгнул ты и убежал во мрак. Ты цапал хохотушек, ты душу заложил, рядясь утопленницей от Куинджи. Снаряд спешил под мост. Пригнитесь, пассажир! Но этот мост установил ты ниже, чем требовал рефлекс. Ты выведен и связан. Ты посетил Луну и даже ею был. В кафе «Троянда» ты стал центровым рассказом, а в КПЗ царапался и выл.

8.

Наш социум был из воды и масла, где растекался индивид, не смешиваясь, словно числа и алфавит. Был деловит наш тип существованья в ширину, чтоб захватить побольше, но не смешиваться с основой, тянущей ко дну, которое к тебе подвешивается. Тот, кто свободу получал насильно, был вроде головы хватательной среди пустот, то в кителе глухом свистел в калибр маслины, а ты дразнил их, свергнутых с постов!

9.

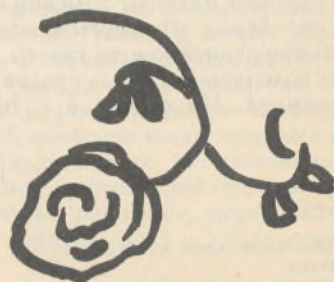
Ты стал бы Северяниным патанатомки, таким, мне кажется, себя ты видел. Твой мешковатый шаг, твой абрис емкий, в себе на людях высмеянный лидер... Оставивший азовский акваторий, твой ум, развернутый на ампулах хрустящих, обшарив степь, вмерзая в тьму теорий, откуда виден я. Прощальная минута. Я уезжаю. Я в вокзал вошел, где пышный занавес, спадая дольками грейпфрута, разнеживает бесконечный холл.

10.

И властью моря я созвал имеющих с тобой прямую связь, и вслед тебе направил их в провал: ходи, как по доске мечтает ферзь! Координат осталось только две: есть ты и я, а посреди, моргая, пространство скачет рыбой на траве. Неуловима лишь бесцельность рая. Пуст куст вселенной. Космос биден. И ты в кругу болванок и основ машиной обязательной заведен. Пуст космос, нищ и ходит без штанов.

11.

Как нас меняют мертвые! Какими знаками! Над заводской трубой бледнеет вдруг Венера... Ты, озаренный террактотыми шлаками, кого узнал в тенях на дне карьера! Какой пружиной гущено коварство угла или открытого простора! Наметим точку. Так. В ней белена аванса, упор и вихрь грядущего престола. А ты пока что — окись, щелочь, соль. Содержит ли тебя неотвратимый сад! То съежится рельеф, то распрямится вдоль, мой дух ему в ответ то вытянут, то сжат.





За последние два года на наших глазах произошло то, чего Набоков, вложивший в уста демону-обольстителю из своих стихов слова:

Твои бедные книги, сказал он развязно,  
Безнадежно растут в изгнание, увя.  
Эти триста листов беллетристики  
праздной  
Разлетятся...

— никогда, кажется, не ожидал: книги писателя возвращаются его отечеству. Его стихи напечатаны в «Книжном обозрении» и «Огоньке», в журналах уже опубликованы романы «Машенька», «Приглашение на казнь», «Защита Лужина», «Дар» и некоторые рассказы, готовятся их книжные издания.

Не все знают, что перед Второй мировой войной Набоков, не переставая писать по-русски, начал писать сначала по-французски, потом по-английски. По-английски им были написаны романы «Подлинная жизнь Себастиана Найта», «Черная полоса» («Под знаком незаконнорожденных»), «Пнин», «Бледный огонь», в позднейшие

годы — «Ада», «Просвечивающиеся предметы», «Посмотри: паяцы». После войны он перевел на английский язык свои ранние русские романы, а на русский — некоторые из романов, первоначально написанных по-английски (свой русский авторский перевод «Лолиты» он охарактеризовал как «прихоть библиофила»). Английские романы Набокова принесли ему мировую славу, но и в них он не расстается с русской темой, и даже русский язык подспудно присутствует в языковой ткани его англоязычных произведений, просвечивая в них бесконечным богатством бескорыстной языковой игры, которая может быть понята и оценена лишь с отечественниками писателя.

Как уже говорилось, не все произведения Набокова, написанные им на английском языке, были переведены на русский им самим. В нашей стране уже начата работа по переводу его английского наследия — за последний год журнал «Новый мир» опубликовал его эссе о Гоголе и о Лермонтове. Предлагаем

читателю перевод рассказа, написанного Набоковым спустя несколько лет после того, как он, уходя от нацизма, в 1940 году переехал из Франции в Америку; рассказ насыщен деталями быта русских беженцев из Германии в ситуации Второй мировой войны.

Заглавие и финал рассказа воспринимает предсмертные слова Отелло, который, перед тем как вонзить в себя кинжал, вспоминает, что точно так же «как-то раз в Алеппо» он поразил турка, «оскорбившего Венецию» (акт V, сцена 2). Кроме того, ведьма из «Макбета» грозит иссушить мужа обидевшей ее шкиперши, который ушел в плавание в Алеппо:

Словно сено иссушен,  
Позабдет он про сон,  
Мыкаясь и ночь и день  
Неприкаянный, как тень.

(Акт I, сцена I, перевод Ю. Б. Корнеева). В рассказе обыгрываются еще несколько цитат из «Отелло».

МИХАИЛ МЕЙЛАХ

# ВЛАДИМИР НАБОКОВ

## «ЧТО КАК-ТО РАЗ В АЛЕППО...»

Дорогой В.! Спешу Вам прежде всего сообщить, что наконец я здесь, в стране, куда меня влекло столько закатов. Одним из первых, кого я тут повстречал, был наш старый добрый друг Глеб Александрович Гекко — он, насупившись, переходил проспект Колумба в поисках того *petit café discoin\**, где никому из нас троих больше не бывать. Он, кажется, считает, что так или иначе, но нашу литературу Вы предали, — Ваш адрес он мне дал, с упреком покачивая головой, словно Вам не стоит уже и письма написать.

У меня есть для Вас рассказ, и это мне напомнило — то есть, я хочу сказать, сами эти слова напомнили мне те дни, когда мы писали наши первые стихи, пенящиеся и теплые, как парное молоко, и все вокруг — роза, дождевая лужа, освещенное окно во весь голос нам кричали: — Мы рифмы! — Да, в этом мире все идет в ход. Мы играем, умираем: *ig-rhyme, umi-rhyme\*\**. А гулкие раскаты русских глаголов одаряют смыслом и дикарские жесты деревьев, и сменяемые отрывистыми взмахами бескрылое колыхание выброшенной кем-то газеты, то вдруг замирающей, то снова волочащейся вдоль продуваемой ветром бесконечной набережной. Но сейчас я к Вам пришел не как поэт.

Я пришел, как та несдержанная чеховская дама, умиравшая от желания попасть в литературу.

Женился я, дайте припомнить, спустя месяц после Вашего отъезда из Франции и за несколько недель до того, как в Париж с ревом ворвались нежные немцы. Но хотя я даже могу представить брачное свидетельство, я теперь уверен, что никакой жены у меня никогда не было. Неважно, что ее имя, может быть, Вам знакомо — это имя призрака. Стало быть, я могу говорить о ней так же отстраненно, как о героине какого-нибудь рассказа (для точности — Вашего).

Это была любовь скорее с первого прикосновения, чем с первого взгляда, потому что до этого я встречал ее несколько раз, никаких к ней особых чувств не испытывая. Но когда я как-то раз провожал ее вечером домой, одно ее особенное словцо заставило меня с внезапным смехом вдруг наклониться и поцеловать, едва касаясь губами, ее волосы — а все мы, конечно, знаем этот слепящий вал, накатывающий в тот самый миг, как в продуманно покинутом доме подобрана с полу зашедшим солдатом позабытая кукла; и вот он не слышит уже ничего — это в исступленной тишине разрастается до бесконечных пределов крохотная точка, всю жизнь едва светившаяся в темной сердцевине его бытия. И в самом деле, смерть мы ставим в связь с небесами, может быть, лишь потому, что видимая твердь, особенно ночью (над затемненным Парижем с его сухопарными арками на бульваре Экзельманс и беспрестанным журчанием альпийских ручейков в пустых общественных уборных) — это и есть наиболее

\* Небольшое кафе на углу (фр.) — Здесь и далее примечания переводчика.

\*\* Rhyme — рифма (англ.), произносится очень похоже на -раем.



точная и всегда неизменная проекция того огромного безмолвного взрыва.

Но различить ее черты я не могу. Она для меня столь же туманна, как моя лучшая поэма — Вы еще так издевались над ней в «Литературных записках». Чтобы представить себе ее образ, я должен мысленно ухватиться за крохотную коричневую родинку на нежной коже ее предплечья, подобно тому, как задерживается внимание на запятой в непонятной фразе. Если бы она пользовалась косметикой побольше и почаще, я, быть может, и был бы сегодня в состоянии вызвать в воображении ее лицо или хоть поперечный профиль сухих накрашенных горячих губ — но нет, я не в силах, хотя временами все еще ощущаю их ускользающее прикосновение, когда они принимаются играть в жмурки с моими чувствами в той разновидности захлебывающегося рыданиями сна, где мы с нею пытаемся друг за друга уцепиться, барахтаясь в безнадежном тумане, и цвет ее глаз неразличим для меня из-за непроливаемого блеска переполняющих их слез, затопляющих радужку.

Она была намного меня моложе, хоть и не настолько, насколько Натали с ее прелестными голыми плечами и длинными сережками в ушах — моложе своего смуглолицего Пушкина, и все же тут оставалось достаточно простора для того ретроспективного романтизма, с помощью которого можно черпать удовольствие в подражании судьбе гения (вплоть до ревности, до мерзости, вплоть до колющей боли, видя, как ее миндалевидные глаза следят за блокурым Кассио из-за павлиньих перьев веера), даже если в стихах ему подражать не удастся. Мои-то, впрочем, ей нравились — она не зевала, как обыкновенно та, другая, всякий раз как мужины стихи превосходили длину сонета. Но если для меня она осталась призраком, то и я, вероятно, был для нее таковым: подозреваю, что единственно, что во мне ее привлекало, — это темнота моих стихов. Потом она проделала отверстие в их завесе и сквозь нее увидела непривлекательное лицо незнакомца.

Как Вы знаете, я давно уже подумывал, не последовать ли примеру Вашего удачного бегства. Она мне описывала своего дядюшку, жившего, по ее словам, в Нью-Йорке. До этого он обучал верховой езде в какой-то школе на Юге, но кончил тем, что женился на богатой американке. Дочь их родилась глухонемой. Их адрес она-де давным-давно потеряла, но спустя несколько дней он, как по волшебству, обнаружился, и мы им написали драматическое письмо, на которое не получили ответа. Это не имело большого значения, поскольку я уже заручился поручительством от профессора Ломченко из Чикаго, но никаких других необходимых документов мы до начала вторжения собрать не успели, хотя я предвидел, что если мы останемся в Париже, то рано или поздно какой-нибудь мой расторопный соотечественник любезно укажет заинтересованной стороне соответствующие места в одной моей книге, где я доказываю как дважды два, что даже при всех ее смертных грехах Германия осуждена оставаться мировым посмешищем во веки веков.

Итак, мы пустились в наше кошмарное свадебное путешествие. Раздавленные и смятые в свалке апокалиптического исхода, ожидая поездов, отправляющихся без расписания в неизвестном направлении, проходя сквозь потрёпанные декорации неопознанных городов, в сумеречном состоянии вечного физического истощения — мы бежали, и чем дальше, тем мне становилось яснее, что спасаемся мы не просто от засунутого в сапоги и перетянутого ремнем идиота с прядью поперек лба и с запасом железного лома на гусеничном и колёсном ходу, — он был всего лишь символом, за которым стояло нечто неуловимое и чудовищное, какой-то безликий и безвременный ком первородного ужаса, все еще настигающего меня даже здесь, в зеленой пустоте Центрального парка.

Что ж, все это она переносила довольно бодро, с какой-то даже ошеломлённой веселостью. Но раз, сидя со мной в уютном вагонном купе, она вдруг совершенно неожиданно разразилась рыданиями. — Собака! — прогово-

рила она сквозь слезы, — наша собака! Не могу забыть бедного нашего пса. — Неподдельность ее горя меня поразила, ибо у нас не было никакой собаки. — Знаю, — сказала она, — но я представила себе, что мы все-таки купили того сеттера. Подумай только, как бы он сейчас был за запертой дверью. — О покупке сеттера тоже никогда не было речи.

Не хотелось бы упустить из памяти и тот поворот шоссе, возле которого мы увидели семью беженцев (две женщины и ребенок) над телом их умершего в пути отца или деда. Небо было переполнено толпящимися в беспорядке тучами — черными и освежаемыми, подсвеченными нелепым снопом лучей из-за нахотленного холма, а под пыльным платаном лежал на спине покойник. Женщины прежде уже пытались руками и при помощи палки вырыть придорожную могилу, но земля была слишком твердой, и они, бросив это занятие, теперь сидели рядышком в окружении анемичных маков, чуть поодаль от мертвеца, задравшего седую бороду к небесам. Мальчик же еще продолжал ковырять, колупать, царапать грунт, пока не перевернул плоский камень и, позабыв свой торжественный обряд, не стал, склонившись над ним на корточках и открывая палачу красноречиво-нежную шею, наблюдать с удивлением и восторгом, как забурлили и забегали зигзагами тысячи обезумевших крохотных коричневых муравьев, расходящихся в поисках укромных местечек по департаментам Гар, и Од, и Дром, и Вар, и нижние Пиренеи, — сами-то мы только помедлили в По.

В Испанию было не пробраться, и мы решили двигаться в сторону Ниццы. В местечке под названием Фожер (стоянка десять минут) я протиснулся из вагона, чтобы купить чего-нибудь поесть. Когда я через две-три минуты вернулся, поезда не было, а бестолковый старик-служащий, ответственный за вставшую передо мной мерзлую пустоту (в угольной пыли, поблескивающей на солнце промеж двух безразличных голых рельс, — одинокая кожа апельсина), мне грубо заявил, что я вообще не имел права здесь выходить.

В лучшем каком-нибудь мире жену, конечно, удалось бы где-нибудь перехватить, дав ей нужные наставления (у меня остались билеты и большая часть денег), но при нынешнем его состоянии чудовищное сражение с телефоном оказалось тщетным, так что я, распустив весь порядок лаявших на меня отдаленных голосочков, отправил несколько телеграмм, который сейчас как раз наверное в пути, и в тот же вечер сел в местный до Монпелье, считая, что дальше ее поезду не доковылять. Когда ее не оказалось и там, я должен был выбирать, двигаться ли дальше — она могла сесть на марсельский поезд, ушедший у меня из-под носа, — или возвращаться обратно, ибо она могла вернуться в Фожер. Сейчас я уже не в силах восстановить тех нитей из клубка моих построений, которые вывели меня в Марсель и Ниццу.

От полиции помощи не было никакой, если не считать таких ее уставных действий, как рассылка по наименее вероятным адресам ложных данных. Один полицейский на меня наорал за то, что я ему надоедаю, другой ушел от вопроса, поставив под сомнение подлинность нашего свидетельства о браке из-за того-де, что печать поставлена не на той стороне. Третий, толстый commissaire\* с растекающимися карими глазками, доверительно мне признался, что в свободное от службы время пишет стихи. Среди множества русских, живущих в Ницце или заброшенных туда войной, я отыскал несколько знакомых. Те из них, у кого, к несчастью, текла в жилах еврейская кровь, говорили о своих обреченных сородичах, которыми забивают идущие в ад поезда, и по сравнению с этим собственный мой случай начинал казаться обыкновенной легкомысленной историей, особенно когда я сидел в каком-нибудь переполненном кафе, глядя на расстилавшийся передо мной молочно-синий морской простор, а за спиной, словно в пустоте звучащей раковины, переливался гул голосов, без конца повторявших одну и ту же повесть —

\* Комиссар полиции (фр.).



о боине и боли, о сером заокееанском рае, об условиях и увертках бессердечных консулов.

Спустя неделю ко мне явился мешковатый сыщик и с невозмутимым видом повел меня кривыми и вонючими проулками к закопченному дому с надписью «Гостиница», почти уже неразличимой из-за ветхости и сажки, где, по его словам, была обнаружена моя жена. Представленная им девица, разумеется, ничего общего с женой не имела, однако мой друг Холмс некоторое время еще пытался заставить нас сознаться, что мы все-таки состоим в законном браке, а рядом, скрестив голые руки на полосатой груди, стоял, прислушиваясь, молчаливый и мускулистый ее любовник.

Когда я в конце концов от них от всех отделаюсь и стал пробираться ближе к дому, мне случилось проходить мимо небольшой очереди, сплотившейся у входа в продовольственную лавку, и тут, с самого края, приподнимаясь на цыпочках, чтобы получше разглядеть, что же там продают, стояла моя жена. По-моему, первые ее слова были — что хорошо бы купить апельсинов.

Она поведала мне историю не совсем внятную, зато весьма банальную. Она вернулась в Фожер и вместо того, чтобы навести справки на вокзале, где ее ждало мое письмо, отправилась прямо в комиссариат полиции. Ее приняла в свой состав группа беженцев, приютившая ее на ночь в велосипедном магазине без велосипедов, где она спала на полу с тремя пожилыми женщинами, которые лежали, по ее словам, рядком, как три колоды. Наутро обнаружилось, что у нее не хватает на билет до Ниццы, но немного денег ей, к счастью, одолжила одна из женщин-колод. Потом она села не на тот поезд и приехала в город, названия которого не запомнила. До Ниццы она добралась третьего дня, зашла в русскую церковь и там встретила друзей, которые ей сказали, что я здесь и ее разыскиваю, и рано или поздно должен объявиться.

Чуть позже, когда я сидел на краешке единственного на моем чердаке стула, обнимая ее юные бедра, а она расчесывала свои мягкие волосы, откидывая голову назад при каждом взмахе гребня, ее блуждающая улыбка вдруг как-то странно дрогнула, и она, положив мне руку на плечо, уставилась на меня словно в отражение в пруду, впервые увиденное.

— Я тебе лгала, милый, — сказала она. — Я лгунья. Я в Монпелье провела несколько дней с черт знает что за типом, мы познакомились в поезде. Я совсем этого не хотела. Он продает лосьоны для волос.

*Время, место, пытка. Ее перчатки, веер, маска.* Эту ночь и много других ночей я провел, вытягивая это из нее по крохам, но так всего и не вытянув. Я упал в удивительное заблуждение, будто я должен сперва собрать все детали, восстановить каждое мгновение, а потом уже решать, в состоянии ли я это вынести. Но предела желанному знанию не наступило, и невозможно было даже предвидеть, когда бы я почел себя насыщенным, ибо знание дробно, а знаменатель каждой дроби знания столь же невычислим, как и промежутки между самими дробями.

Ах, сперва она слишком была усталая, чтобы сопротивляться, а потом не сопротивлялась, потому что была уверена, что я ее бросил: и она, очевидно, считала, что такие объяснения будут для меня чем-то вроде утешительного приза, а не мученьем и чушью. Это продолжалось бесконечно. Она то и дело ударялась в слезы, стремительно, однако, высохавшие, когда она задыхающимся шепотом принималась отвечать на мои непечатные вопросы или с жалкой улыбкой пыталась увильнуть в относительно безопасную область малосущественных разъяснений: я же крушил и крушил больную зуб, пока челюсть чуть не взрывалась от дикой, пылающей муки, которую я всё же предпочитал тупой, ноющей, покорно переносимой боли.

И еще заметьте, что в перерывах следствия мы пытались извлечь из властей, вовсе не желавших их выдавать, документы, которые, в свою очередь, были бы основанием для получения следующих, а те позволили бы ходатай-

ствовать далее о разрешении на затребование еще других бумаг, каковые либо дали бы, либо вовсе не дали подателю средство установить, как это случилось и почему так произошло. Ибо даже если я был в состоянии представить себе эту ненавистную, без конца повторяющуюся сцену, мне всё равно не удавалось протянуть нить от угловатых гротескных силуэтов ее участников к тающей тени моей жены — вздрагивающей, колеблющейся и в конце концов растворяющейся под моим сверкающим взглядом.

Итак, нам ничего больше не оставалось, как только терзать друг друга, а еще — часами ожидать приема в префектуре, заполнять анкеты, советоваться с друзьями, которые успели уже к тому времени прозондировать самое потаенное нутро всех возможных виз, вести тяжбы с секретаршами и снова заполнять анкеты, вследствие чего ее похотливый живчик-коммивояжер начал воедино сливаться с мерзостным месивом из огрызающихся чиновников в крысиных бакенбардах и трухлявых связок архивных бумаг, испарений фиолетовых чернил и взяток, подсовываемых под промокательную бумагу цвета мертвечины, из жирных мух, щекоющих вспотевшие шеи быстрыми холодными ворсистыми лапками, из торпощащихся при переклеивании скверных фотографий шести ваших человекообразных двойников, из печальных глаз и настойчивой вежливости просителей родом из Слущка, Стародуба, Бобруйска, из дыб и тисков Святейшей инквизиции и жуткой улыбки лысого господина в очках, когда ему ответили, что потерянный паспорт восстановить невозможно.

Признаюсь, что как-то раз после отборно гнусного дня, я, опустившись на каменную скамейку, зарыдал, проклиная этот издевательский мир, в котором миллионами человеческих жизней жонглируют липкие руки консулов и комиссаров. Заметив, что она тоже плачет, я ей сказал, что всё бы это не имело никакого значения, не случилось того, что случилось.

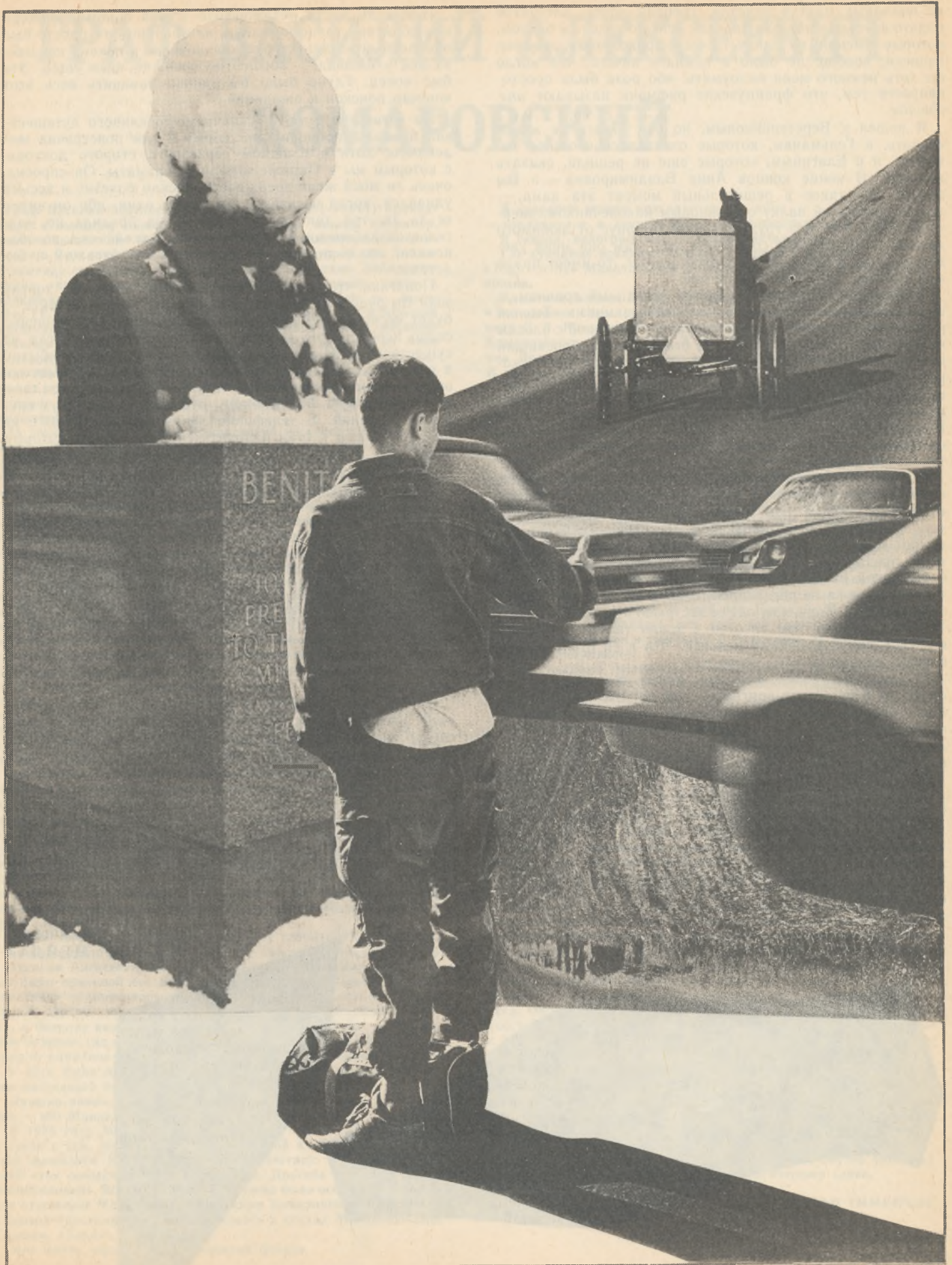
— Ты скажешь, что я сумасшедшая, — отвечала она с жаром, благодаря которому она даже приобрела на мгновение черты реальности, — но клянусь тебе — ничего ведь не было. Может быть, у меня одновременно несколько жизней. Может, я тебя испытывала. Может, эта семейка тоже сон и мы с тобой на Сатурне или в Саратове.

Было бы неинтересно возиться с описанием всех этапов, пройденных мной на пути к окончательному принятию первой версии ее приключений. Мы не разговаривали, я много времени проводил один. Она возникала из полумрака, снова в нем исчезала, потом опять появлялась с какой-нибудь безделицей в руках, которая, по ее мнению, должна была доставить мне удовольствие, — пригоршней вишен, тремя бесценными сигаретами или еще чем-нибудь подобным, и вручала мне эти дары с тем благостно-безмятежным видом, с каким безгласная сиделка хлопочет вокруг выздоравливающего привереды. Я перестал навешать большинство наших общих друзей, потому что все они как-то разом потеряли интерес к моим паспортным перипетиям, сменив его на глуховатую неприязнь. Я написал несколько стихотворений. Я пил всё, что попадалось под руку. В один прекрасный день я прижал ее к своей изнывавшей груди и увез в Кабуль, где мы неделю пролежали на узком пляже, засыпанном красноватой галькой. Странно сказать, но чем счастливее выглядел новый наш союз, тем острее я чувствовал подводную струю разлей грусти. Но я внушал себе, что это и есть подлинный признак истинной благодати.

Тем временем что-то сдвинулось наконец в меняющихся начертаниях наших судеб, и в один прекрасный день я выскочил из сумрачной духоты приемной, вознося дрожжащими руками пару полновесных *visas de sortie*. После того, как в эти самые руки впрыснута была в надлежащем порядке американская сыворотка, я кинулся в Марсель, где мне удалось добыть билеты на первый же отплывавший пароход. Воротясь домой, я с топотом взлетел по лестнице. В бокале на столе очевидной, хоть и слащавой красотой сияла роза — стебель облепили пузырьки-паразиты. Оба

\* Выездных виз (франц.).







ее выходных платья исчезли, гребень исчез, клетчатое пальто исчезло и исчезла палевая лента с палевым бантом, которые заменяли ей шляпу. Не было приколотой к подушке записки, вообще не было в комнате ничего, что могло бы хоть немного меня надоумить, ибо роза была просто-напросто тем, что французские рифмачи называют *une cheville*.

Я пошел к Веретенниковым, но они ничего не могли сказать, к Гельманам, которые отказались что-либо говорить, и к Елагиным, которые еще не решили, сказать или нет. В конце концов Анна Владимировна — а Вы знаете, что такое в решительный момент эта дама, — велела подать ей палку с резиновым наконечником, энергично, хоть и не без труда, оторвала корпус от любимого кресла и отправилась со мною в сад. Там она меня уведомила, что, поскольку она вдвое старше, то имеет право мне сказать, что я скотина и хам.

Представьте себе сцену: садик, усыпанный гравием, в нем под одиноким кипарисом голубой кувшин из «Тысячи и одной ночи»; покосившаяся терраса, на которой с пледом на коленях любил дремать отец старой дамы, бросивший новгородское губернаторство, чтобы последок дней скоротать в Ницце; бледно-зеленое небо; в сгущающихся сумерках пряное дуновение ветерка; металлические трели кузнечиков, настроенные на «до» третьей октавы — и Анна Владимировна, у которой дрогнули на щеках отвислые складочки, когда она незаслуженно метнула мне этот материнский упрек.

Дорогой В., эфемерная моя жена, последние недели одна ходившая в гости в несколько знакомых нам домов, всем этим добрым людям прожужжала их наводственные уши следующей необыкновенной историей. Да будет известно всем, что она безумно полюбила молодого французца, предлагавшего ей вместе с рукой и сердцем терем с башенкой и герб с гребешком. Что она умоляла меня о разводе, но я не согласился, сказав ей, что, чем плыть одному в Нью-Йорк, я лучше ее застрелю и сам застрелюсь. Что она сказала, что ее отец в точно таком же случае вел себя как порядочный человек. Что я ей ответил, что плевать мне на ее *sous le pége* \*.

И таких несуразиц был еще целый воз, но все они очень уж были ладно пригнаны — неудивительно, что под конец старая дама заставила меня поклясться, что я не стану, размахивая ружьем, преследовать влюбленных, удалившихся, по ее словам, в замок в Лозере. Я осведомился, видела ли она когда-нибудь этого господина своими глазами. — Нет, но фото видела. — Когда я уже собирался уходить, Анна Владимировна, которая к тому времени немного поостыла и даже протянула мне кончики пальцев для поцелуя, опять вдруг зашлась гневом и, стукнув палкой по гравию, глубоким звучным голосом изрекла: — Но чего я Вам никогда не прощу — это собаку. Бедное животное! Как Вы могли своими руками ее повесить, когда уезжали из Парижа!

\* Рогатый отец, отец-рогоносец (франц.). Форма выражения придает ему нарочито вульгарный оттенок.

Имела ли место метаморфоза жуира в коммивояжера или обратная трансформация, или вообще это просто был обойденный молчанием русский, который до нашей свадьбы за ней ухаживал, — абсолютно неважно. Она ушла. Это был конец. Глупо было бы заново начинать весь этот кошмар поисков и ожиданий.

На четвертые сутки нескончаемо-тоскливого путешествия я вышел побродить на корму и там повстречал милейшего, хоть и слишком серьезного старого доктора, с которым мы в Париже играли в шахматы. Он спросил, очень ли моей жене досаждают морская болезнь и весьма удивился, когда я сказал, что плыву один, ибо он видел ее за два-три дня до отплытия — она бродила по марсельской набережной, казалось, без всякой цели, но объяснила, что я должен вот-вот подойти с багажом и билетами.

Полагаю, что это и есть пуант всей новеллы, только если Вы будете ее писать, врачом его лучше не делайте — будет чересчур. Именно в это мгновение мне совершенно стало ясно, что ее вообще не существует и никогда не существовало. И вот что я Вам еще скажу. По прибытии я поспешил удовлетворить свое нездоровое любопытство, отправившись по данному ею когда-то адресу. Оказалось, он соответствует безымянному пустырю между двух служебных зданий. В телефонной книге дядюшки тоже не было, но когда я стал наводить справки, Гекко, который знает всё, сообщил мне, что действительно был такой господин, но после смерти глухонемой дочери оба они с его женой-наездницей переехали в Сан-Франциско.

В пространственном представлении прошлого искалеченный наш роман видится мне скрытым завесой тумана на дне глубокого ущелья, над которым возвышаются две непререкаемых горных главы: прежде была настоящая жизнь, жизнь настоящая будет еще. Впрочем, еще не завтра. Может быть, послезавтра. Вы, счастливый смертный, окруженный чудесной семьей (как поживает Лиза? как близнецы?), занятый разнообразными трудами (как лишайники?), едва ли способны проникнуть в мою беду силой человеческого участия, но я, может быть, я сам что-то пойму, взглянув на нее сквозь кристалл Вашего искусства.

Но жалость-то какая! К черту Ваше искусство, я безумно несчастлив. А она всё бродит по-прежнему там, где по каменным плитам раскинуты для просушки бурые сети, и по борту пришвартованной рыбацкой лодки пробегают зайчики от разбросанных по волнам солнечных бликов. Где-то в чем-то я совершил непоправимую ошибку. То тут, то там поблескивают слюдяные частички обломанной чешуи на бурых яйцах. Я должен быть осторожен, иначе все это может кончиться в Алеппо. В., пошадите! Если Вы возьмете заглавие эти слова, Вы исфальшивите Ваши игральные кости свинцом переносимого намека.

Бостон, 1943

Перевел с английского  
МИХАИЛ МЕЙЛАХ



# ГРАФ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОМАРОВСКИЙ

Граф Василий Алексеевич Комаровский (1881—1914) принадлежал к высшему обществу. В его письмах можно, например, прочесть такое: «Вот тебе новость: Бориса Вяземского забаллотировали в Яхт, хотя Петя Долгорукий его и предупреждал. Забаллотировали его бывшие товарищи по конной гвардии. Забаллотировали также флигель-адъютанта Свечина, причем свита и великий князь демонстративно вышли из клуба». Или: «... принцесса (Е. М. Ольденбургская), совсем больная, живет в большом царскосельском дворце. Говорят, что наследник ушибся, поскользнувшись в ванне». Или, что Саша Вырубов женится на Анне Танеевой. Комаровский ценил древнее (еще польское) происхождение своего рода, свое близкое родство с поэтом Веневитиновым, помнил о том, что его дед в январе 1837 года встретил в книжном магазине Пушкина, и тот сказал: «Комаровский, вы все знаете — порекомендуйте мне книгу о дуэлях».

За свою короткую жизнь Комаровский не успел сблизиться с литературными кругами, его друзья в этой среде известны наперечет. Одним из них был искусствовед Николай Николаевич Пунин. В своих неопубликованных еще воспоминаниях Пунин писал: «Это был высокий, широкоплечий, сутулившийся человек с коротко остриженной головой; бритое апopleксическое лицо; карие, добрые, живые, странного взгляда глаза. Время от времени Комаровского постигало безумие, поэтому он жил, избегая сильных впечатлений, в царскосельском уединении... Василий Алексеевич обладал тонким, выбранным вкусом, в то время, как я с ним познакомился, почти не тронутым модернизмом. Это был характерный представитель русского классического образования; он знал латынь и любил читать Цезаря; прекрасно, разумеется, знал французскую классическую литературу... Комаровский писал стихи; он читал их мне с детской доверчивостью, прислушиваясь к каждому моему слову. Эти стихи были на высоком профессиональном уровне, и по тому, как он их читал, было видно, с какой тщательностью он выбирал слова. Впоследствии он издал сборник «Первая пристань». Сборник не получил большого отзвука, но мне известно, что лучшие поэты моего поколения расценивали его очень высоко. Мне тогда казалось, да кажется и сейчас, что своеобразие этих стихов заключается в том, что при сохранении лучших традиций русской поэтической речи в них глухим гулом звучит классическая латынь. Комаровский много читал и затем переводил Бодлера; видимо, он имел на него большое влияние; но не тем декадансом, которым Бодлер пленил русскую предреволюционную интеллигенцию, а той истинно французской классической традицией, не понятой и не переданной русскими переводчиками, которая связывает Бодлера с римскими поэтами... Кроме стихов Комаровский работал над прозой. Он писал роман, о котором говорил мне не раз; роман этот имел даже название «До Цусимы», но Василий Алексеевич не прочел мне из этого романа ни одного абзаца, хотя я и просил его об этом.

— Не могу, — говорил он, — я не хочу ссориться с династией. Впоследствии мне кто-то говорил, кажется, Маковский, что у Василия Алексеевича была в прошлом трагическая любовь, и это было причиной его болезненного состояния. Стихи «Первой пристани» не противоречат этому. Комаровской погиб в самом начале первой мировой войны; он не выдержал объявления войны, и безумие вновь охватило его. Он тогда жил уже на Каменном Острове, где я редко у него бывал; его увезли в Москву, и он умер от паралича сердца в припадке буйного умопомешательства. У него были прекрасные руки, но я не могу их представить без массивного перстня с великолепным сапфиром.

Лучшие поэты поколения, о которых говорит здесь Н. Н. Пунин, — это Мандельштам, Ахматова и Гумилев.

В 1926 году Мандельштам писал жене в Ялту (может быть, в связи с тем, что та встретилась с одной из Безобразовых — с этой фамилией Комаровский был в родстве): «Поэт Комаровский «тот самый». Он очень хороший. Достань стихи. Объясни Безобразовой». Видимо, объяснить нужно было особое, почтительное отношение Мандельштама к стихам Комаровского. Отголоски «Первой пристани» можно расслышать в стихах Мандельштама. Скажем, «Закат» —

Мне плоть мерещится изрубленных бойцов,

В кудрявой зелени мелькают чьи-то лица  
— откликнулся в стихотворении «Золотистого меду струя...»:

Я сказал: виноград, как старинная битва живет,

Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке.

«Toga virilis» Мандельштам включил в свою антологию русской поэзии.

Ахматова сказала Лидии Чуковской в 1940 году о Комаровском: «Это один из самых любимых моих поэтов». Поэту и литературоведу С. Б. Рудакову Ахматова говорила в 1936 году: «Да, знать Комаровского — это марка. А знаете, Коля говорил: «Это я научил Васю писать, стихи его сперва были такие четвероногие». И правда, он, конечно...».

«Коля», то есть Николай Гумилев встретил Комаровского впервые у их общих царскосельских знакомых, художников Кардовских. Это было в 1908 году, и спустя почти двадцать лет художники рассказывали поэту Л. В. Горнунгу об этой встрече: «...они затеяли спор о поэзии. Василий Алексеевич стоял за соответствие между формой и содержанием, а Гумилев защищал внешнюю сторону стиха. Комаровский чрезвычайно волновался, Гумилев, как всегда, был выдержан и спокоен, и обращался с Комаровским как с дилетантом. Прощаясь, в тот день он говорил, что Комаровский большой чудак, что с ним невозможно разговаривать. Впоследствии Комаровский бывал у Гумилева, у них наладилась дружба, но они постоянно старались поддеть друг друга, особенно Комаровский иронизировал над менторским тоном Гумилева». Похоже, что поэтика Комаровского была для Гумилева загадкой, он спрашивал у Комаровского: «Да к чьей же, наконец, школе Вы принадлежите, к моей или Бунина?» И с годами эта загадочность становилась для него все значительней. Георгий Адамович вспоминал о разговоре с Гумилевым за несколько дней до ареста последнего:

«...когда-то Анненского я очень любил! Но теперь я пересмотрел свое отношение к его стихам и окончательно разлюбил их. Нет, это вялый, скучный поэт, и мне совсем чуждый.

Не помню, кто именно, Георгий Иванов или я, спросил:

— Что же, ваш Брюсов лучше?

Гумилев поморщился.

— Нет, Брюсов, может быть, и не лучше... Но был среди символистов поэт действительно необыкновенный — Комаровский».

Поэтика Комаровского и впрямь необычайна («Откуда он: торжественник остатний...», — удивлялся еще недавно эмигрантский поэт Юрий Иваск в стихотворении о Комаровском). Он, конечно, испытал влияние Анненского (норвежский славист Стейнар Гил предположил даже, что к тени Анненского, ушедшей из мира на ступенях Царскосельского вокзала, обращено стихотворение «Благодарю тебя за этот тонкий яд...»), может быть, Брюсова и Гумилева. Но ни у кого из ближайших предшественников не мог он заимствовать такого дара гиперреалистических сновидений — ибо его итальянское путешествие в стихах (сам он в Италии никогда не был) было таким же визионерством, как встреча с женоподобными стервятниками у ночного царскосельского пруда, как перевоплощение в римского юношу I века, впервые надевшего белую тогу мужчины — *toga virilis*, или в итальянского монаха XIV века, или в баварскую крестьянку XIX века. Он был художником и хорошо знал европейскую живопись (составил «Таблицу и указатель главных живописцев Европы с 1200 г. по 1800 г.»), и это, возможно, объясняет его искусство моментальных словесных многофигурных и многоплановых композиций. Может статься, что его душевная болезнь стоит в какой-то связи с его обостренной чувствительностью к самому составу северного мира — солоному воздуху, запыленным лучам, льдам, туманам, мокрым ветрам, белым ночам. Как бы то ни было, яркая и ледяная, скользящая и порывистая каллиграфическая тайнопись Василия Комаровского не утратила своей требовательной напряженности до конца нашего века, смутно указывая на какие-то будущие пути русского поэтического слова.

РОМАН ТИМЕНЧИК



На площадях одно лишь слово — «даки».  
Сам Цезарь — вождь. Зброшены венки.  
Среди дворов — военные рожки,  
Сияет медь и лапятся собаки.

Я грежу на яву: идут рубаки,  
И по колени тина и пески;  
Горят костры на берегу реки,  
Мы переходим брод в вечернем мраке!

Но надо ждать. Еще Домициан  
Вершит свой суд над горстью христиан,  
Бунтующих народные кварталы.

Я никогда не пробовал меча,  
Нетерпеливый, — чуял зуд плеча,  
И только вчуже сердце клокотало.

1911

## ОХОТА

Барону Е. Ф. Таубе

Князь-Епископ сегодня гарцует.  
Свита скачет на пегих конях.  
В соснах бешено ветер танцует,  
Бегло вьется в густых седилах.

Всюду эта глубокая осень  
К бурым, сизым лесам прилегла;  
Где склублились у северных сосен  
Дым, и темная сырость, и мгла.

Смеется, и полнится лаем  
Воздух, влажно-соленый, окрест.  
И в тумане едва замечаем  
На соборе сияющий крест.

Горделивая скачет охота,  
Где недавние жаты овсы.  
Князь-Епископ — сегодня забота  
Только эти веселые псы!

1908

И горечи не превозмочь,  
— Ты по земле уже ходила —  
И темным путником ко мне стучалась ночь,  
Водю мертвою поила.

1909

Благодарю тебя за этот тонкий яд,  
Которым дышет клен осенний,  
И городских небес зелено-мутный взгляд.

За шумы дальние, за этот поздний час,  
И эти жесткие ступени,  
Где запыленный луч зарделся — и погас.

1910

Гр. Л. Е. Комаровской

Я обругал родную мать.  
Спустил отцовские опалы.  
И приходилось удирать  
От взбешенного принципала.

Полураздетый, я заснул,  
Голодный, злой, в абруцкой чаще.  
И молний блеск, и бури гул,  
Но сердцу стало как-то слаще.

И долго, шалый, по горам,  
Скакал и прыгал я, как серна.  
Но, признаюсь, по вечерам  
На сердце становилось скверно.

С холодных и сырых вершин  
Спустишь ли в отчужденную долину?  
Отдаст ли розгам блудный сын  
Свою озябнувшую спину?

Нет. Забывая эту ширь,  
Где облака бегут так низко,  
Стучись, смиренный, в монастырь  
Странноприимного Франциска.

Доверье, ласка пришлецу.  
Меня берут — сперва как служку.  
Пасу овец, или отцу  
Несу обеденную кружку.

На все распределенный день:  
Доят коров, и ставят хлебы,  
И для соседних деревень  
Вершат молитвенные требы.

Или на сводчатой стене  
Рисуют ангельские кудри...  
А после мессы, в тишине, —  
Дела еще смиренномудрей.

Постятся. Спаржа и салат.  
Лишь изредка крутые яйца.  
Из мяса же они едят —  
И тоже редко — только зайца.

Послушен, кроток, умилен,  
Ищу стигмат на грешном теле.  
Дни чисты. Разум усмирен.  
И сновиденья просветлели.

На пятый месяц, наконец,  
Дрожит рука, берусь за кисти.  
Ее, гонявшую овец,  
Господь направи и очисти!

Ползком вдоль монастырских стен  
На ризах подновляю блики.  
Счищаю плесень: едкий тлен  
Попортил праведные лики.

Мадонна в гаснущей заре.  
Святой Франциск, святой Лаврентий,  
И надписи на серебре  
На извивающейся ленте.

Или с востока короли,  
В одежде празднично-бранной,  
В чалмах и перьях, повезли  
Христу подарок филигранный.

Или под самым потолком,  
Где ангел замыкает фреску,  
Рисую вечером, тайком,  
Черноволосую Франческу.

1910

# ВАСИЛИЙ КОМАРОВСКИЙ



Видел тебя красивой лишь раз. Как дымное море,  
Сини глаза. Счастливо лицо. Печальна походка.  
Май в то время зацвел, и воздух светом и солью  
Был растворен. Сияла Нева. Теплом и весною  
Робкою грудью усталые люди дышали.  
Ты была влюблена, повинувшись властному солнцу,  
И ждала — а сердце, сгорая, пело надеждой.  
Я же, случайно увидев только завесу,  
Помню тот день. Тебя ли знаю и помню?  
Или это лишь молодость — общая чаша?

1913

*В стране, где гиппогриф веселый льва  
Крылатого зовет играть в лазури...  
Н. Гумилев*

Гляжу в окно вагона-ресторана:  
Сквозь перья шляп и золото погон  
Горит закат. Спускается фургон,  
Классической толпой бегут бараны.

По виноградникам летит вагон,  
Вокруг кудрявая цветет Тоскана,  
Но кофеем плеснуло из стакана  
С окурками смешался эстрагон...

Доносятся слова: Барджелло, Джотто,  
Названия улиц, книжные остроты,  
О форуме беседует педант.

Вот Фьезоле. Cuique — свой талант:  
И я уже заметил профиль тонкий  
Цветочки предлагающей девчонки.

*Как цезарь жителям Алезии  
К полям все доступы закрыл,  
Так дух забот от стран поэзии  
Всех, в век железный, отградил.  
В. Брюсов*

Как древле — к селам Анатолии  
Слетались предки-казаки,  
Так и теперь — на Капитолии  
Шаги кощунственно-тяжки.

Там, где идти ногами босыми,  
Благословляя час и день,  
Затягиваюсь папиросою  
И всюду выбираю тень.

Бреду ленивою походкою  
И камешек кладу в карман.  
Где над редчайшею находкою,  
Счастливый, плакал Винкельман!

Ногами мучаясь натертыми,  
Накидки подстилая край,  
Сажусь — а здесь прошел с когортами  
Сенат перехитривший Кай...

Минуя серые пакгаузы  
Вдохну всей полнотою фибр.  
И с мутною водою Яузы  
Сравню миродержавный Тибр!

1913

Самонадеянно возникли города  
И стену вывел жадный воин,  
И ядовитая перетекла вода,  
Отравленная кровью боен.

Где было все и бодро и светло,  
Высокий лес шумел над лугом,  
Там дети бледные в туманное стекло  
Глядят наследственным недугом.

И девушка раскрашенным лицом  
Зовет в печальные вертепы;  
И око мертвое, напоено свинцом,  
Глядит насмешливо и слепо.

Заросшим следом авелевых стад  
Идти в горячем ожиданьи?  
Где игры табунов раздолье возвестят  
Своим неукротимым ржаньем?

Где овцы тучные, теснясь, перебегут  
по зеленеющим обрывам,  
К серебряным ручьям блаженно припадут,  
Глотками жажды торопливой?

Так: прежде хищника блестел зеленый глаз,  
Стервятник уносил когтями.  
И бодрствовал пастух, и опекая, пас,  
И вел обильными путями.

Но вымя выдоил и нагрузил коня  
Повсюду осквернивший руку:  
По рельсам и мостам железом зазвения,  
Несет отчаянье и скуку.

И воды чистые, они не напоят,  
Когда по нивам затопленным  
Весенний табунок понурых жеребят  
Тоскует стадом оскопленным.

1912

АННЕ АХМАТОВОЙ

По получении «Четок»

В полночи, осыпанной золою,  
В условии сердечной тесноты,  
Над темною и серою землею  
Ваш эвкалипт раскрыл свои цветы.

И утренней порой голубоокой  
Тоской весны еще не крепкий ствол,  
Он нежностью, исторгнутой жестоко,  
Среди камней недоуменно цвел.

Вот славы день. Искусно или больно  
Перед людьми разбито на куски  
И что взято рукою богомольно,  
И что дано бесчувствием руки.

1914

Июль был яростный и пыльно-бирюзовый.  
Сегодня целый день я слышу у окна  
Дождя осеннего пленительные зовы;  
Сегодня целый день и запахи земли  
Волнуют душу мне томительно и сладко,  
И если дни мои еще вчера текли  
В однообразии порядка...

1914

(последнее стихотворение, оставшееся недописанным)



# АНДРЕЙ КУРЦИЙ

Андрей Курций (настоящее имя Андрей Куршинскис) родился в 1884 году в крестьянской семье. Поэт умер в 1959 году. Изучал медицину в Иенском и Казанском университетах. Затем — уже в начале двадцатых годов — занимался философией и филологией в Берлинском университете. Владея несколькими языками, превосходно знал русскую, французскую, немецкую культуру. Курций не только поэт, но и теоретик искусства (с авангардистским уклоном), а также неплохой прозаик. Андрей Упит, человек с саркастическим складом ума, не склонный расточать комплименты даже своим политическим единомышленникам в литературе, назвал Курция самым образованным латышским писателем.

Уже в первой книге поэта «Беды солнца» четко обозначились константы его творчества — он глубоко субъективно переживал общественные явления, сочетая строгую дисциплину мысли, не переходящую в сухой рационализм, с мужественной, неслезливой эмоциональностью. Будучи активным участником революции 1905 года, Курций всю жизнь стойко придерживался социалистической ориентации, включался в политическую борьбу, однако все его творчество пронизывает чувство (то усиливаясь, то ослабевая) одиночества, налет пессимизма, незатихающая боль. Поэт дорожил внутренней свободой и независимостью, считая это первейшей необходимостью творческой личности. Поэтому наряду с социальной проблематикой Курций постоянно и неотступно обращается к вечным вопросам человеческого существования, не руководствуясь сиюминутной конъюнктурой. За свои социалистические убеждения Курций, как это и положено, пострадал: не только в буржуазной Латвии, но и в сталинские послевоенные годы. . .

Андрей Курций — вечный искатель, его мышление по самой своей природе антидогматично. В двадцатые годы он обращается к экспрессионистическому свободному (стиху), оказав сильное влияние на молодую поросль латышских поэтов. Однако он никогда не завоевывал широкой популярности; стремления к саморекламе, печатания своих произведений в массовых кассовых изданиях он последовательно избегал. Интеллектуальная угрюмость, которой отмечены даже его стихи с эротической окраской, ставило творчество поэта особняком в общем потоке латышской лирики.

И поныне этот глубокий, незаурядный поэт вряд ли нашел своего широкого читателя. Творчество Андрея Курция находит отклик у психологически родственных натур, а людей такого склада, очевидно, среди латышей не так уж и много. . . Курций несомненно классик нашей литературы, но не ставший классиком в читательском сознании. Популярней творчество самого Курция его блестящие переводы из Омара Хайяма, исполненные не в канонической форме, а свободным стихом. Жаль, что наше сознание так слабо заражено неординарной мыслью поэта. Курций был по профессии врач, сражающийся против инфекций. В чем же секрет недостаточной «инфекционности» его поэзии? И такой бывает «утечка мозгов» в истории народа.

Все минуло — и бог, и сверхчеловек.

Лишь у глупости — неизъяснимая сила,  
которая способна пережить все на земле.

Какое-нибудь глупое слово закончит каждому  
жизненный путь.

Подстрочный перевод Яниса Рокпелниса



## КОГДА САДИТСЯ СОЛНЦЕ

Садится солнце. Сумрачные тени  
Остывшие вытягивают руки  
И жалобные раздаются звуки  
Из тьмы, стоящей у лесных владений.

Вечерний сумрак. Время превращений.  
И с древнею надеждой не в разлуке  
Еще томится сердце в сладкой мучке  
Прекрасных и торжественных мгновений.

Но в тишине немой надежды тают.  
И надо мной неслышно пролетают  
Ночные сонмы призрачных видений.

## ПЕСНЯ СУМЕРЕК

На землю опустился сонный вечер,  
Ползут туманы медленно из тьмы,  
Спят дальних роц зеленые холмы,  
Над ними — звезд мерцающие свечи.  
Все спит. . . И только ветры в вышине  
Старинные свои бормочут речи.





## ПО ТЕМНЫМ ТРОПАМ

По темным тропам путь меня ведет;  
Садится солнце, вечер настает. . .  
Но я иду, тоской гонимый лютой,  
И нет мне сна, нет крова, нет приюта —  
Повсюду стон предсмертный над страной;  
По темным большакам, во тьме ночной  
Кружится, тучи разрывая в клочья,  
Тревожный ветер, ветер полуночный.  
И все вокруг таится и не спит:  
Грозит и умоляет, и хрипит.  
Как в тумане, образы любимых  
Печальной чередой проходят мимо,  
Влекут и манят, и зовут с собой. . .  
Над миром ветер реет буревой,  
И нас опять томят надежды наши. . .  
Но короток мой век, и путь мой страшен.

## ПУТЬ К СОЛНЦУ

Петляют тропы — по какой идти? . .  
Чаща все пространство поглотила,  
А там, за лесом, алое светило  
По голубому движется пути.

Но не доходят к нам его лучи,  
Лишь брызги, но и брызги эти редки,  
И в сумраке не разглядеть сквозь ветки,  
Кто там в кустах таится и молчит.

Нет, не кружить нам надо — тесно жить  
Под тенью смерти, — но врубиться в чащу  
И через этот ужас леденящий  
Дорогу прямо к солнцу проложить!

## В ТИХИХ ПОЛЯХ РОДИНЫ

Я иду один в полях безмолвных,  
Над полями спят пространства мглы;  
Спят снегов серебряные волны,  
Роши спят, безмолвны и белы.

Там, где я когда-то о безбрежном  
Счастье грезил, — голо и мертво;  
И те грезы радужные нежит  
Только память сердца моего.

## ЗЕВАЕТ НОЧЬ

Зевает ночь в долинах нелюдимых,  
Дождь барабанит, плющится о жесть.  
Я дверь боюсь открыть, там кто-то есть.  
Там кто-то неживой проходит мимо. . .

Они идут — лишь полночью повеет, —  
Те, что смертельным встречены свинцом,  
И ужас с перекошенным лицом  
Глядит из тьмы, и сердце леденеет.

Зачем ты здесь? Ты мрачен и встревожен.  
Или слова горячие твои  
Не звали в бой? . . Народ лежит в крови.  
А кто над ним склонится? Кто поможет? . .

Зевает ночь в долинах нелюдимых,  
Дождь барабанит, плющится о жесть.  
Я дверь боюсь открыть, там кто-то есть.  
Я знаю: то они проходят мимо.



# АНДРЕЙ КУРЦИЙ

## ТЫ ОДИНОК

Деревья в страхе трепетном теснятся,  
Лишь две березы стройные над ними  
Ввысь тянутся вершинами своими.  
Устало листья в воздухе кружатся.  
Ты одинок. И взор твой устремлен  
Туда, где тихий тлеет небосклон.

И вот уже луна горит, как красный,  
Как призрачный маяк полей печальных,  
Тумана волны борются с лучами,  
И острова светящиеся гаснут.  
И ты опять один. Лишь над тобой  
В мерцанье звезд твоя трепещет боль.

Идешь, и тень твоя, ступая следом,  
Вытягивается под красным диском,  
Когда он повисает низко-низко  
С застывшею тоской на лице медном.  
Ты одинок. Лишь чей-то скорбный стон  
Звучит вдали, тревожа ночи сон.

## РОДИНА

Лишь только я в ночи глаза прикрою,  
Земля моя, ты вновь передо мной,  
Я вижу: солнце село за горою,  
Я слышу, как вдали шумит прибой.

Холмы лесные, тихие заливы,  
Речные ивы, голубое дно,  
Поля, где я бродил такой счастливый...  
О как давно то было, как давно!

Ты ранена, земля моя родная,  
Горька твоя судьба и враг твой лют,—  
В домах пустынных тьма стоит сквозная,  
И ветры по развалинам снуют.

Я вижу все... И от тоски измучась,  
Тревожная скорбит душа моя,  
Когда над миром из лесов дремучих  
Родная поднимается земля.

## ЭЛЕГИЯ

Пока я шел сюда, тот дивный храм  
Был превращен в пустынные руины,  
Но свет его, о тихие долины,  
Я сохранил и возвращаю вам.

Есть жалость в сердце горестном моем,  
Покорности в нем нету, но несчастный,  
Я все же верил в приближение часа,  
Когда сойдет с небес и грянет гром.

Я тщетно ждал, когда взойдет во мгле  
Разящий меч кровавый и, карая,  
Пройдет весь мир от края и до края,  
И свет восторжествует на земле.

Но только никого там не видеть...  
Ах, тихие долины! Я на землю  
Давно уже смотрю, одной ей внемлю,—  
Она научит и терпеть и ждать.

19. IX. 1984

В этот день не появлялось солнце,  
Серые клубились небеса,  
Вороны кружились над землею,  
В ожиданьи замерли леса.

Кто-то вышел под вечер из дома,  
Целовал земли холодный мох.  
Все, что было — было так убого,  
Жить так дальше он уже не мог.

Как случилось это, я не знаю,—  
Поздний путник шел, туман вставал,  
И журавль, подстреленный на поле,  
До рассвета жалобно стонал.

## СВЯТОЕ МГНОВЕНИЕ

Пока вокруг все яростней борьба,  
Оно ко мне нисходит, как судьба  
С ночных небес, где в синих звездах дно,  
И шепчет, что исполнилось оно.

Друзья мои, я снова вижусь с вами,—  
Проходите вы теми же путями  
И кружитесь как будто в странном танце —  
У мертвых губ засохший цвет багрянца.

Не ты ли, юность, сквозь года суровой  
Борьбы моей и бедствий, и разлуки,  
Не ты ли мне шепнула это слово  
И любящие протянула руки?..

И кровь еще течет во мгле туманной,  
И ночь еще вокруг. Но и для нас  
Придет рассвет и заворачивает раны,  
И вечный над землей наш грянет час.



Не нужный никому, забытый всеми,  
У ног твоих очнулся я от сна,  
Не замечал я, как бежало время,  
Я помню лишь, как в небе тишина  
Прозрачная и синяя струилась...  
Да было ль это, или тоже снилось?

#### ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ СЕРДЦЕ

Изгибы тела твоего легки,  
Высок и строен стан твой озаренный,  
Так к солнцу стебель тянется зеленый,  
Горячие раскрывши лепестки.

Как искрами прижгло ладонь руки,  
Но все же приближаюсь, опаленный,  
И плачу, и ликую, погребенный  
Под волнами нахлынувшей тоски.

Лучистое сиянье анемона  
Увянет и безмолвно опадет,  
У синего застывши небосклона.

Еще не знает сердце, что придет;  
И мачта вдалеке, едва видна,  
Несется, блеском звезд озарена.

На самой высокой горе Монмартра  
Я тебя ждал.  
У ног моих старый Париж,  
Куда я, варвар, ворвался  
Со скулящим в сердце оркестром,  
Дирижер которого порвал контракт  
И сбежал.  
Но напрасно, наивный, я ждал!  
По кварталу Латинскому  
Не пройдешь ты рабыней науки —  
Ученостью от тебя не разит;  
И сверхприбыли,  
В которую можно зарыться  
И сдохнуть,  
Ты не создашь —  
Потому что ты — дурочка,  
И твой путь, как у утра по воздуху,  
Ветренный и пламенеющий,  
И страшный,  
Как затяжной прыжок...  
Я еще жду тебя  
На самой высокой горе Монмартра.

#### ДЫХАНИЕ ПОКОЯ

Я долго смотрел: как над полем  
Ночные туманы вставали,  
И понял, как суетны боли,  
Тревоги мои и печали,  
Все скорби, все горести наши...  
Вот пахарь, окончив работу,  
Домой возвращается с пашни,  
Скрывается за поворотом.

Вот месяц торжественно-странный  
Над рощей притихшей явился,  
И ночи покров сребротканый  
Заискрился и приоткрылся.

И кто-то живой и лучистый  
Склонился во тьме надо мною...  
В глазах моих — свет его чистый,  
И в сердце — дыханье покоя.

#### ПОЗДНО

Вестник радости победной,  
Странник утренней звезды,  
Я пришел познать все беды  
В мире мрака и вражды.

Был я воин битвы грозной,  
Был упрям. Но пробил час —  
Понял я, зачем так поздно  
Радость посещает нас.

О прекрасное мгновенье!  
Воскрешает вновь оно,  
Все, что отдано забвенью,  
Что на смерть обречено.

#### ЕСЛИ ТЫ УХОДИШЬ, МОЙ ДЕНЬ

Солнце в небе — золотое  
Яблоко среди черной бездны,  
Вот как ты уходишь, день мой,  
Поднятый руками смерти  
Над моей землею предков,  
Над моей отчизной, милой  
Матерью, что всех утешит.  
Тонет солнце в черной бездне,  
День мой веки закрывает.  
Дух земли незрячим взором  
Смотрит на меня безмолвно.

Переводы ЛЕОНИДА ЧЕРЕВИЧНИКА



# ЯНИС ВЕВЕРИС

ТЕ ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОКНА  
ТЕ ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОКНА  
ТЕ ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОКНА  
ТЕ ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОКНА  
ТЕ ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОКНА  
ТЕ ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОКНА  
ТЕ ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОКНА

Густой, плотный туман, обложивший шоссе, приморская равнина, монотонно мурлычет мотор, монотонно бормочет магнитофон, на дороге никого уже минут сверхдесять, изредка прогудят трейлеры, вот и все общество в эту ночь, летящую в утро; он нашаривает бутылку тоника, пару раз отхлебывает, пылает уголек сигареты, пальцы бездумно барабают в ритме мотивчика, есть такая штука — One Way Ticket\* — как бы там ни было, так там поется, еще полчаса пути и он будет дома; сонная улыбка Даниелы, торшер малинового цвета; с Дани, думает он, мне повезло, точно повезло; отличная партия, великолепная партия, так все говорили тогда, пару лет назад, кто с завистью, кто констатируя, но на редкость единодушно; да, а затем они поженились, любящие родители жены дали волю средствам и связям — без излишеств, разумеется, — но все вошло в стабильную колею; работа, квартира, обо всем похлопотали, главным образом благодаря опеке старых Лиелмежей, вообще-то тесть все сумел один, в последний момент, до ухода на пенсию; нынче его слово равнялось нулю, но старые связи остались; однокашники, сокурсники, нечто похожее

на сентимент связывало этих полувековых бонз, вероятно большее, чем только совместные охоты и тому подобные непреходящие радости после с трудом проведенных будней между наступающей корпулентностью и служебными телефонами. Да, старому я нравлюсь, вдруг расплылся в улыбке Эрвин, позволив улетучиться окурку через открытое боковое стекло, вот мамочка Даниелы не выглядела ошарашенной, старый, конечно, уломал, уломал и не ошибся; за меня ему краснеть не приходится, хотя тогда, да, тогда, он только начинал работать, самому не верилось, что получится, а вышло, вот ведь, вышло, теперь, поди-ка, плюнь, на коне я, на коне; к черту, что я радуюсь, как щенок, вдруг одергивает он себя, но скользко все это, скользко, прогореть можно, как пить дать, еще и по пустякам, ну, взять хотя бы эту поездку; кто его гнал, кто, в конце концов, толкал его к этой девке, да вот, не удержался, позвонил, и он уже с чернотой; а вдруг, вдруг кто-то узнал его, там, у взморского гастронома, признал и зафиксировал, куда он с бутылочкой коньяка едет дальше; девчонка, дело понятное, даже премило, но стоило ли это того, стоило ли всех возможных неприятностей? Подумаешь, один раз, ворчит он про себя, раскуривая новую сигарету,

\* билет в одну сторону (англ.)



единожды, произносит он сквозь стиснутые зубы, хотя сам толком не верит в это, но внезапная вспышка галогеновых фар спасает его от дальнейших умствований; авто катит под сотню, но тот, за спиной, шурует покруче: форд песочного цвета, вроде старовой модели и порядком загнан, разве много разглядишь в одно мгновение, лихо просвистел мимо эрвиновского люкса, еще минута, крутой поворот смел его стопсигнал; морячок, рассуждает Эрвин, коротка ты, жизнь, на берегу, везде поспеть нужно, усмежается он и тотчас чувствует, как ему на самом деле хочется спать, почти инстинктивно жмет на педаль акселератора, крутой поворот остается позади, впереди — гаснущая в тумане прямая асфальта, дом и постелька, негромко напевает он, черт, снова поворот, домой, в домик, в постель, в кровать...

Форд, очевидно, даже не скользил, шоссе сухое, но так или иначе, а машина там, внизу; должно быть, раза четыре, не меньше, три кувырнулся; колеса еще крутятся, Эрвин вылезает из кабины, внезапная слабость заполняет глубоко под ложечкой, но все равно спускается по насыпи, ночь тиха, тишина, только где-то пиликает кузнечик, это несколько странно глубокой ночью; наконец-то добрался, дверки подаются легко, и здесь обожают музыку, в сумраке авто журчит бодрый мужской голос, да это женщина, внезапно осознает он, потерявшая — женщина: волнистые светлые волосы вразброс по передней панели, рядом с рулем, волнистые светлые волосы и два кровавых ручейка на растрескавшемся лобовом стекле; он преодолевает тошноту и пытается прощупать пульс, так, около тридцати, безотчетно всплывает в сознании, рука уже потеряла бархатисто-равномерную полноту, кровеносные сосуды рельефно проступают в тусклом свете приборной, есть, все же есть, вспыхивает в сознании, что-то слабо пульсирует под пальцами, помощь, скорая помощь, надо ехать, надо сообщить, да, но как я очутился на этом шоссе? Черт, не годится, как я сюда попал, я должен быть совсем в другой стороне, на другой дороге; завтра, самое позднее послезавтра, станет известно, коллегиально, мило расскажет Даниеле во время обхода, ваш Эрвин, знаете ли; как, он не рассказывал?.. Проклятье, что предпринять, баба, эта дура-баба — и вдруг он замирает, не веря своим ощущениям; цепенеющий покой под пальцами, ничего больше не пульсирует, все неужели — все; зеркало, зеркало, идиот, что я лапаю голыми руками, так, носовой платочек, ну, теперь давай, хрустнула пластмасса, стекло заднего обзора отделяется от основания, так, немного повернем голову, ну, еще чуть-чуть, хорошо, хорошо...

Лицо, чем-то знакомое лицо, кровь мешает различить черты, кассета отмотала до конца, внезапная тишина хлещет слух, нет, не дышит, никуда не надо ехать, как раз наоборот — надо смыться; шатаясь, он пятится задом, поворачивается и на четвереньках карабкается наверх, блик в надежному убежищу жигулей; невероятно, но факт — это та самая Марга, с которой, которая... проклятье, он толчком врубает переключатель скорости на первую, проклятье, вот те свиданьице...

Но тогда, много лет назад: лицо чиновника выражает обезличенную заинтересованность, садитесь, Эрвин усаживается, вы уже, наверное, знаете, нам надо побеседовать... Эрвин пожимает плечами, хотя убежденность, какова причина для этого разговора, не покидает его с момента, когда тайный голос в телефонной трубке вежливо переспросил его имя и пригласил явиться, конечно, в удобное для Эрвина время; Эрвин пожимает плечами, прекрасно зная, что никто другой, кроме Марги, только Марга, и то благодаря пособничеству своего отца.

Видите ли, к нам поступила жалоба, продолжает чиновник, ну, вы же понимаете, от кого, не так ли? Жалоба, значит, нарушение спокойствия, да, и выражения, некоторые ваши выражения, вот, они здесь зафиксированы,

скажите, вы так говорили? Не припоминаете, что подделывать, у нас нет оснований не доверять подателю жалобы, да, и так далее, и тому подобное, в конце концов Эрвин выпутывается объяснительной, хотя его ставят в известность об иных возможных последствиях, если его действие повторится, то есть, в случае повторения, у ТОГО дома; сутки, мелкое хулиганство, так сказать; ну да, возможно, у Эрвина временно будут неприятности в институте — все это излагается корректно, но весьма однозначной интонацией; Эрвин понимает, впредь он ни за что так не поступит; странно, но муки отвергнутой любви и их проявление можно ликвидировать подобным образом, он позднее рассудит, какое универсальное заведение, подумает, вот, Марга наконец-то в самом деле обретет покой; только вздумай еще раз, пригрозила она, когда Эрвин в очередной раз не выдержал и позвонил, попробуй только, мой отец тебя быстро упечет, куда следует; да, вот и произошло, а он, идиот, не верил, что можно так просто, так буднично, с помощью телефонного звонка или частной беседы. Да, и еще, закругляя беседу, говорит чиновник, вы же понимаете, с ТАКИМИ людьми лучше не связываться, не так ли? Чем больше шевелить, тем больше вони, почти вырывается у Эрвина, но он вовремя сдерживается, берет подписанный пропуск и направляется к выходу.

Тем и завершилась моя большая любовь в ТАКОМ обществе, усмежается он, пьяные вопли под ее высокими белыми окнами, у Порука жилось бы попроще, хм, мда, до квартиры я так и не дорвался; парадные двери в ТАКИХ домах заперты, но вот у меня есть ключ,

ВОТ У МЕНЯ ЕСТЬ КЛЮЧ, напевает зять Лиелмежей, его авто уже с радостью вкатило в город, One Way Ticket, опять выкладывает магнитофон, он едет, не соображая, правда, толком, куда; во всяком случае не домой, пока не домой, мурлычет он, так, вот, значит, куда: тихая улочка в центре, многоквартирный дом, глубокие проемы лоджий, имущему да воздастся, пятый этаж, окна любимого тестя,

И ВОТ У МЕНЯ ЕСТЬ КЛЮЧ, четвертый этаж, окна моей небесно-голубой любви, отныне уже бывшие окна Марги, по соседству, как говорится, ах, да, мы даже встречались пару раз на званных вечерах, Даниела года на четыре моложе Марги, свиделись, нас даже представили друг другу, и ненависть, ненависть в глазах Марги осталась, да, я даже, помнится, перепугался — положим, а вдруг... Нет, что уж теперь, мы в то время уже были женаты, единственная дочка Лиелмежей и я, замужрышка, шушера Эрвин, которого можно вышвырнуть, как пустой кулек от сладостей. Да, но это могли прежде, раньше; нынче я сам уже был один из ТАКИХ, есть один из ТАКИХ, ухмыляется молодежавый человек за рулем, потом закуривает, жадно затягивается, полочет горло парой глотков тоника, откашливается, кидает взгляд на предрассветные серые окна дома, для пущей смелости достает и надевает темные очки, открывает двери авто и, не снимая ноги со сцепления, кричит, кричит на все темные окна дома, кричит взахлеб, кричит все, что и прежде, много лет назад, но теперь уже не по пьянке, на сей раз он делает это с почти хладнокровной невозмутимостью, и: бухают, захлопываясь двери, авто резко срывается с места, водитель спешит, спешит к любимой жене, улыбаясь широко, полной детского удовольствия улыбкой,

а дом молчит, серый монолит с закрытыми парадными дверями, плотно задернутыми шторами, спущенными жалюзи, лишь на лоджии пятого этажа некий мужчина, измученный полувечерней бессонницей и несметными обязанностями, коротает время за пивом, сигаретами и портативным магнитофоном, он тоже улыбается.



Юрис КАЛНАЧС

## ВТОРЖЕНИЕ

«Плохо, если о вас говорят, но  
если о вас молчат — это еще хуже».

(О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»)

«С 1932 по 1940 год нередко прохаживался по рижским улицам, на которых редко увидишь роскоши и еще реже — своеобразие, необычный человек. Он резко отличался от двух-трех чудаков, которых рижане уже хорошо знали: от угрюмого господина с совершенно синим лицом, от плотного господина в блестящем цилиндре и высоких рыбацких сапогах, от оборванного, грязного, и все же великого живописца с лицом Христа и босыми, лето ли, зима ли, ногами. Он, прежде всего, был тщательно одет и с первого взгляда было видно, что мы имеем дело со стройным юношей, много думающим о своей наружности и охотно глядящимся в зеркало у хорошего портного».

Это — один из немногих завершенных фрагментов записок Э. Адамсона, с которого, похоже, было задумано начать некую главу книги о Карлисе Падегсе, противопоставляя его по внешности живописцу Валдемару Ирбе. Говорили, что сам Ирбе в брошюре якобы высказался так: «Я должен сказать: если бы мои сограждане, дамы и господа, натянули по две пары чулок, теплые башмаки и галоши, они бы, наверное, все равно мерзли. Но если бы на меня снизошел дух рисования, я мог бы в это время идти босиком». Ирбе устроил в сарае выставку своих работ, а также прямо на городских улицах создавал пастели, которые можно было тут же приобрести за несколько десятков сантимов, и рижане к этому уже привыкли.

Весной 1932 года Карлис Падегс предстал испанским кабалеро. Он надвинул на брови шляпу с невероятно широкими полями. Надел длинное темное пальто с подкладными плечами, а на шею — ярко-красный шарф. В одной руке он держал желтые перчатки из свиной кожи, в другой — бамбуковую трость. Наряд завершали полосатые брюки «финансиста», из-под них виднелись ослепительно белые гетры, украшенные черными пуговичками, и они прикрывали сверкающие лаковые туфли. Может, тогда составные части ансамбля — брюки или пальто — еще не заказывались известному портному Нельсону, а шляпы —

через представительство Котелло. Модели одежды, и не только для себя, но и для своей матери, К. Падегс рисовал сам.

Юноша неторопливо прохаживался по рижским бульварам, не подчиняясь деятельной суеде сограждан. Его вид и походка вызывали то удивленные взгляды, то презрительные замечания, и поражали прохожих не меньше, чем лет двадцать назад бурлескная желтая кофта футуриста Маяковского.

Порой можно было наблюдать, как он сидит в одиночестве на скамейке в Верманском парке или Виестурдарзсе, или же прогуливается с В. Калнрозе или Х. Брауэрсом, а поскольку и тот и другой были ниже его ростом, то невольно вспоминались популярные кинокомиксы Пат и Паташон. А по вечерам он регулярно появлялся в Оперном кафе О. Шварца, которое посещал не только рижский «высший свет», но и писатели, художники, журналисты. Он оставлял пальто внизу, в гардеробе, потом поднимался по лестнице, устланной узорной дорожкой, на секунду останавливался, чтобы окинуть взглядом себя, отраженного в пятиугольном зеркале, и входил в зал с роскошно расписанным потолком, там он садился возле белого круглого столика, как всегда, у окна, и в окно было видно Бастионную горку и Большие часы.

Он потягивал фирменный кофе «Express» и печально слушал оркестр под управлением капельмейстера Чухчина. Оркестр исполнял любимые публикой вальсы Штрауса, мелодии из оперетт Легара и Кальмана, а тем временем сидевшие за соседними столиками дамы и господа могли внимательно разглядывать его.

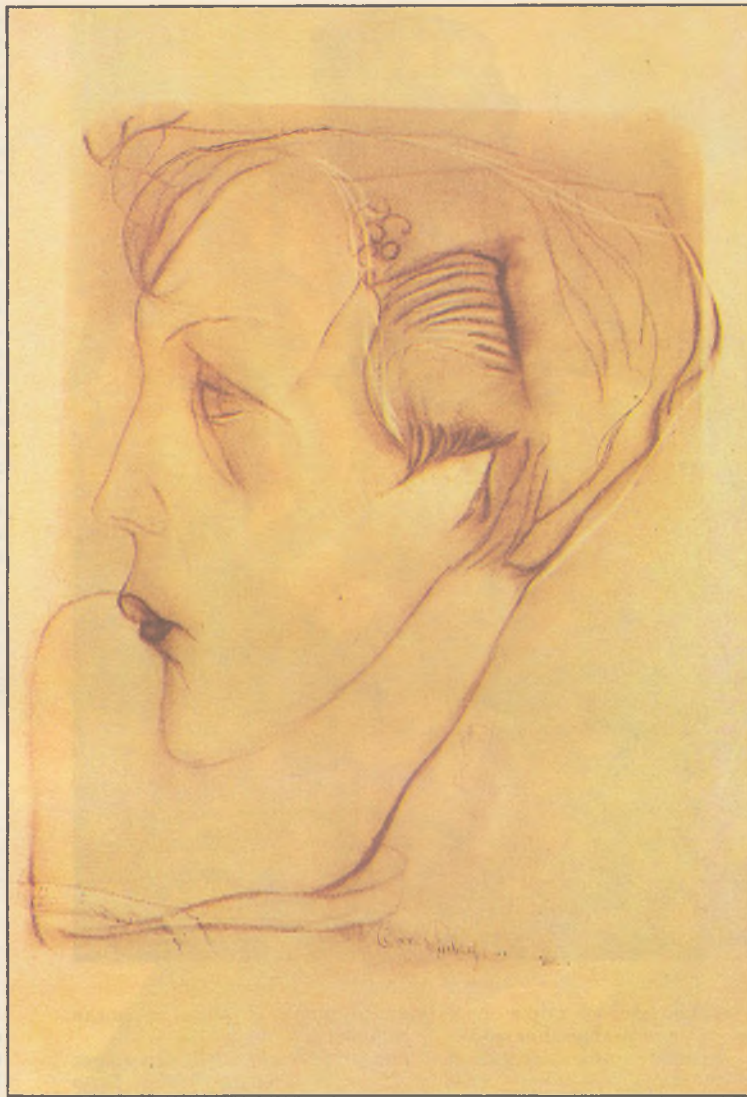
Прямые темные волосы зачесаны назад и прилизаны, а лоб подбрит, чтобы казался выше. Брови тонкие. Вдоль щек — длинные и узкие бакенбарды, лицо напудрено до бледности и под левым глазом выделяется подгримированная родинка.

Разумеется, из кармана визитки торчит розоватый надушенный платочек, а в петлице — хрупкая красная гвоздика. В широ-





На Рижском взморье. Ок. 1932.



Портрет М. Ковалевской. 1932.

ком узле галстука-кроата поблескивает жемчужина, на пальце — перстень с большим четырехугольным драгоценным камнем.

К. Падегс интриговал не только барышень из богатых семей, но и серьезных людей. Облик денди — всегда безупречно отглаженные брюки, белая сорочка, начищенные туфли, кое-какие экстравагантные детали, — служил ему не хуже, чем рыцарю в средние века кольчуга, позволяя скрыть и скромный достаток, и подлинные чувства, одновременно соответствуя стремлению к стилистически чистой красоте.

Для студентов Художественной академии, более сдержанных в одежде и скуповатых по характеру, К. Падегс был эталоном элегантности. Ксилограф П. Упитис вспоминает: «К. Падегс всегда был *comme il faut*».<sup>4</sup>

Из чего еще складывается «заграничный эффект»? Английские пословицы — хотя произношение было не блестящее, визитная карточка на французском, подпись под работами «Карл Падегс», а позднее — «Charles Padeque». В этом — не только жажда выделиться, но и тоска по прямому контакту с мировой культурой. В результате он заработал кличку «Чарли».

Всмеиваясь попытке неимущего поэта уподобиться О. Уайльду, А. Эглитис колоритно описывает внешнюю сторону жизни К. Падегса, не пытаясь вникнуть в суть его искусства. В декабре 1932 года одна из наиболее популярных газет «*Pedējā Brīdī*» («В последний миг») опубликовала интригующий материал под названием «Таинственный рижский джентльмен с моноклем и в испанском сомбреро — художник Карлис Падегс». Статья была украшена фотографией Падегса, похожей на те, что делали в фотоателье Л. Крейцберги.

Автор статьи — некий Вайварс — сообщает читателю, что никому не известный испанец с рижских бульваров — молодой художник К. Падегс, который разрабатывает следующие темы: «Испанец из Латвии — В белых гетрах — Танго, девочки из парикмахерских и тоска по светлой жизни — На шляпе вышиты

череп и кости — Поцелуй в кафе — В желтом жилете на вечере прессы — Конфискованная папка с порнографическими новеллами — Сенсационная выставка в Риге — Мадонна Рафаэля с пулеметом и сигаретой — Лебедь и женщина — Окровавленная отрезанная голова посреди улицы — Картины, нарисованные пудрой Коти — Марлен Дитрих, как идеал — Йо-Йо и лотерея Красного Креста — Париж, Рим, Монте-Карло — Достоевский и Гамсун — Таинственный джентльмен из Испании».

Статья, написанная в таком шустром ритме, объединяет пикантные детали и серьезные вещи.

Читатель узнает, что испанец с бульваров, который так нетрадиционно одет и так дерзко ведет себя в кафе, подражает в своих картинах, написанных в парижской манере, голландцу К. ван Донгену, а для работ, в которых использует такой непривычный материал, как пудра, и сюжеты находит необычные. Он вынужден смириться с фактом, что К. Падегс не желает для себя карьеры кинозвезды, ибо, рисуя портреты, ярко проявляет свои симпатии (М. Дитрих, К. Флитс) и антипатии (Г. Гарбо, Ж. Гейнор) в киноискусстве. Автор сообщает любимую марку духов художника («*Dandy d'Orsay*») и то, что он умудряется надуть ими сигареты, и то, что он в мечтах посещает европейские столицы, и его неожиданно серьезные литературные вкусы.

Ф. Достоевский, возможно, привлек К. Падегса умением раскрыть тончайшие движения человеческой души, несомненным сочувствием к слабым и угнетенным, а также галереей разнообразных шутов — это и персонажи «Бесов», и отдельные образы почти каждого романа русского писателя, такие, как павший духом Ипполит Терентьев («Идиот»), играющий в самоубийство, в возможность которого никто не верит. Нам не известны произведения Падегса, изображающие конкретных героев Достоевского, но напряженная атмосфера многих рисунков соответствует духу прозы писателя. В конце жизни график посвятил цикл странным героям Гамсуна. Филигранные, соблюдающие клас-





Отец и сын. 1932.

сическую форму стихи французского поэта П. Валери могли привлечь его внимание образом Нарцисса.

Прошло полтора месяца, и в январе 1933 года, когда интерес общества к художнику стал угасать, в «Pedēja Bīdī» была опубликована статья «Два часа с экстравагантным латышским художником Карлисом Падегсом», автор которой спрятался за очевидным псевдонимом «Дон Алонсо». Этот материал продолжал подготовку рижского зрителя к выставке К. Падегса, и потому корреспондент побывал в гостях у таинственного художника, но содержание статьи вкратце изложено так: «Несуществовавшая выставка в Риге — Сенсационные работы — Экстравагантнейший художник Латвии — Пижама и трубка с опиумом — Картины под впечатлением наркоза — Падегс — денди и рисует экзотических женщин — Сто увлечений и великая усталость — Ателье в кафе — Огромная ирония и перерезанные артерии на руках — Экзотика интимного альбома».

Кроме уже известных фактов, статья намекает, что художник вдохновляется и опиумным дымом: «Мои лучшие произведения созданы в состоянии, похожем на транс» (и так заложены основы еще одной сплетни о К. Падегсе, одной из многих). В статье пишется, что Рига ему якобы кажется слишком тесной и провинциальной, и потому он отправится устраивать свою выставку и искать признания в Париж («Парижанки — красивые женщины... Во-вторых, в Париже меня поймут, латышам я пока еще чужд»). Художник рассказывает, что хотел бы устроить свою мастерскую в каком-нибудь кафе. Э. Адамсонс был убежден, что автор этой статьи — сам К. Падегс. Но тем труднее отличить легкомысленное фиглярство от действительно искренних размышлений. Несомненно, искренним следует считать мнение, что из живописцев ему наиболее близок Казакс. Точнее, созвучие можно увидеть не столько в стремлении Казакса к монументальности, сколько в повышенной выразительности и яркости цвета, в крупных цветовых пятнах его картин.

В завершение вышеупомянутого визита корреспондент якобы прихватил из альбома художника некую фотографию. На ней — полубогающаяся девица в сорочке и чулках с подвязками и сам Карлис Падегс, одетый с привычным изысканием. Разумеется, фотографию присоединили к статье в качестве иллюстрации.

В «Pedēja Bīdī» был опубликован цветной автопортрет художника в жанре ню, а также репродукция нарисованного



Врожденность. 1931.

Падегсом плаката с шаржами на обоих участников выставки: стройный, сдержанный Карлис Падегс в черной широкополой шляпе и огненном шарфе и тяжеловесный, энергичный Валдис Розенбергс в берете, сдвинутом на затылок, а латышский текст для солидности переведен на французский язык.

Такие плакаты были расклеены по рижским улицам. Вариант плаката открыточного формата, напечатанный на серебристой фольге, рассылался в качестве почетного приглашения самым уважаемым гостям выставки, а также украшал собой столы в кафе «Конгресс».

Инициатором выставки был Карлис Падегс, он пригласил участвовать в ней бывшего товарища по пейзажной мастерской, куда более тихого, похожего на крестьянина В. Розенбергса (теперь он более известен как мастер гризайли, пейзажист В. Калнрозе), которому пришлось смириться с размахом рекламы, тем более, что она касалась его в меньшей мере, чем Падегса.

Для выставки не нашлось места ни в одном из рижских музеев — не хватало денег и известности. Недалеко от квартиры К. Падегса было кафе «Дансинг-Палас» (Елизаветинская улица, 55), которое рижане прозвали «Молочным рестораном». Для выставки выбрали банкетный зал на втором этаже, а лестницу украсили специально взятыми напрокат пальмами в горшках.

Вступительный текст в каталоге бы таким же «заграничным», как французский плакат. Он был написан в критической форме и выдавался за перевод с английского, его автор Доналд Дэй (может быть, очередная мистификация), признавая, что «прекрасно жить ради искусства», замечал, что искусству К. Падегса свойствен сардонический юмор, в основе которого — мнение, будто жизнь вовсе не трагедия, а лишь шутка. Его рисунок по образцу американских газет наводит на мысль шире использовать собственные газеты, а художнику еще дается совет выбирать для работ технику, более поддающуюся репродукции.

Неслыханно широко разрекламированная выставка успех имела неслыханный. В день открытия, 22 января, небольшое помещение было переполнено, хотя приглашенные официальные лица не явились. Но собралось много любопытных. И, несмотря на то, что в центре выставки оказался автопортрет обнаженного К. Падегса, сидящего в мягком кресле, причем единственной одеждой был огненно-алый шарф, перекинутый через плечо,



где-то в уголке зала, возможно, стояли и мать с отчимом, вероятно, приятно удивленные тем, что ради работ Карлиса сбежалось так много народу.

Но некая девушка, знакомая авторов выставки, покрасневшая до ушей при виде роковой картины, совершила небольшой подвиг.

Э. Казайне вспоминает: «Я купила несколько темно-желтых тюльпанов и пошла на выставку вместе с подружкой. Была убеждена, что смогу оставить цветы возле какой-нибудь очень красивой картины. На выставке было много небольших графических работ, очень тонко проработанных (на них были изображены картины войны, окопы, колючая проволока, взрывы и т. п.). Было несколько портретов и пейзажей, написанных маслом. Но куда же положить цветы? К портрету какой-нибудь чужой и странной дамы? В самом центре поместили автопортрет Чарли — обнаженный, угловатый скелет сидящего мужчины с непринужденно скрещенными ногами. Картина довольно большая и выделяется среди прочих очень контрастными тонами. Это был какой-то кошмар! Зрители отворачивались от нее и любовались более приятными работами. Я чуть не заплакала. Автопортрет! Упрямец, дурак — но огромный талант. Выставляет себя перед публикой на посмеище — ведь тогда этого никто не мог понять. Я бы не могла прийти с мужчиной на такую выставку! Но все же именно там я положила свои цветы. Мне казалось, что все надо мной насмехаются. Хорошо. Я подмигнула подружке и — стрелой из зала! Вот тебе и искусство! Настроение испорчено!»

А в дни, когда посетителей было мало, художник сидел один в помещении, противоположные стены которого были затянуты неотбеленной холстиной, и, греясь у печурки, читал отклики в рижской прессе, поскольку хотя бы на время выставки осуществилось одно из высказанных им желаний: «Я хочу, чтобы каждый день в газетах была хоть строчка обо мне».

Люди приходили, смотрели и... не понимали. В рисунках и картинах многое было не так, как если бы смотреть привычным «невооруженным глазом». Люди обращались к художнику, прося растолковать — почему он так делает. Как-то группа человек в пятнадцать расспрашивала о картине «Отец и сын». Но К. Падегс не умел выступать на публике. Он указал на компаньона: «Розенбергс объяснит!». Тот и объяснил: «Надо представить себе, как видят мир дети. Ведь в каждом доме наверняка есть малыш. Попробуйте вообразить себя грудным младенцем. Он ощущает только надежные руки своего отца, но для него не имеет значения, много ли у этого сильного мужчины ума, или голова у него маловата. Для ребенка значение имеют только сильные руки». Когда зрители ушли, К. Падегс с благодарностью схватил за руку рассказчика: «Спасибо. Ты сказал именно то, что я думал».

На выставке были представлены 15 картин В. Калнрозе и 120 работ К. Падегса. Среди них 19 картин маслом, главным образом женские портреты, а также фигурные композиции, среди которых наибольшего внимания удостоились вышеупомянутый «Отец и сын», «Мадонна с пулеметом», «Снятие с креста».

«Мадонна с пулеметом» — одна из самых оригинальных и удачных работ Падегса. В ней последовательно реализуется симбиоз парадоксальной мысли и «чрезмерных» выразительных средств. Поле боя. Вдали — грозное зарево. На этом фоне выделяется спокойная белокурая мадонна со стройной лебединой шеей, что так характерно для женских образов Падегса. Ее, подняв над собой, несет отряд искалеченных воинов. В ее объятиях вместо беспомощного или озорного ребенка массивный стальной пулемет. Картина не только напоминает о почти забытой первой мировой войне, но и полна тревожных предчувствий.

Картина «Снятие с креста» — обращенное к своему времени, динамическое решение традиционного для живописи евангелического сюжета, причем вдали угадываются огни большого города, а фигуры мужчин снабжены атрибутами модной одежды — котелками.

Картины свойственно противопоставление контрастных цветовых пятен, напряженная композиция, насыщенные и пастозные мазки, деформированные — удлиненные или грубоватые — пропорции фигур.

Труднее судить о рисунках — слишком мало сохранилось конкретных работ с этой выставки. Конечно, основное внимание привлёк обширный цикл «Красный смех». На некоторых листах были изображены клоуны. Похоже, что в начале тридцатых годов К. Падегса серьезно занимали взаимоотношения между человеком и маской, сконцентрированные в образе шута. В одной из газет того времени он высказался, что работает над циклом «Те, кто смеется издалека», чтобы показать чувства, рождающиеся под пестрым клоуновым гримом: «Я со всей серьезностью отдался этой работе и в результате разглядел то, чего другие люди не видят. Боль, бесконечная боль под белой штукатуркой лиц. Бесконечная усталость — страдание, пока зал лопается от смеха. И над всем этим — безупречная улыбка на белой штукатурке лица. Они обязаны улыбаться!»



У МОЛЬБЕРТА.



ПАДЕГС В ИСПАНСКОМ КОСТЮМЕ.

Эти слова лучше всякого обнаженного автопортрета раскрывают невидимую посторонним сторону жизни экстравагантного художника.

Наибольшее недоумение, даже возмущение вызвали работы, в которых изображена разгульная жизнь, обнаженные тела экстравагантных женщин. В этом отношении художник не всегда был достаточно сдержан. В нескольких работах видны черты лица М. Ковалевской — в портрете «Девушка с золотыми губами», в нескольких рискованных работах, среди которых «Восемь девушек, ожидающих поезд» — восемь барышень на железнодорожной станции, одетых лишь в чулки и туфли. Если сперва оба, художник и модель, считали такие рисунки шуткой, хотя, возможно, не совсем удачной, но все же дружеской, то после открытия выставки разразился скандал. Кое-кто из зрителей узнал это лицо, и по городу поползли слухи, будто М. Ковалевская позировала К. Падегсу. В результате работы пришлось снять. Они были повешены обратно только после обещания художника переделать лицо. Но дружба тем и кончилась.

Впечатлениями от выставки полна пресса того времени, издания разных направлений. Почти все критики, хорошо отзывавшись о пейзажах В. Калнрозе, больше внимания уделили работам К. Падегса. В некоторых газетах эту выставку сравнили с выставкой общества художников Муксала, организованной в солидных помещениях городского художественного музея, отмечая, что выставленные работы слишком неоригинальны и однообразны.

(Окончание следует)

Объяснения к тексту в следующем номере



# МИХАИЛ ТРОФИМЕНКОВ

## НОВЫЕ «НОВЫЕ»: «ПИШЕМ ДУШУ — НА ЧЕМ УГОДНО, ЧЕМ УГОДНО».

*«Авангард — элемент пехотного охранения в сухопутных войсках, совершающих марш. Выделяется в предвидении столкновения с противником. (...) Кроме того, А. может выполнять задачи по уничтожению войск противника. (...) Действия А. должны быть решительными и стремительными, носить маневренный характер».*  
(Советская Военная Энциклопедия. Т. I. М., 1976. с. 12—13)

Декорация банальна настолько, что кажется условной. Кухня большой ленинградской коммунальной квартиры. Даже на слайдах, которые я перебираю сейчас, назойливо лезут в глаза трубы парового отопления, бутылки, грязные тарелки. Как ни старался я оставить их за кадром. Старался, поскольку писал не репортаж о перенаселенном муравейнике. Писал об искусстве. А кухонная утварь мешала рассмотреть главное — фрески.

Над дверью в миндалевидном сиянии — мандорле — скорбная мадонна в зеленом плаще. К ней тянутся огромноголовые и огромноглазые коротконогие дети. В девочке легко узнать дочь художника. Тем временем уродец со скошенным лбом залезает в карман монументальной бабе с пикассовским лицом. Бровастый монстр, облокотившийся на оконную раму, — воплощение злого начала, недоброй власти. Весь мир — от Богоматери до превратившегося в печальный пластический иероглиф оленя — уместился в крохотном закутке. Краски лишь местами выдержали натиск повседневной суеты, сохранив первозданную яркость. Остальное — увя... Впрочем, художник Олег Котельников и не рассчитывал на вечную жизнь своего творения. Якобы расписал он кухню лет шесть назад, когда узнал, что дом выселят. Придут в пустой дом рабочие, увидят росписи и... обалдеют. А пока не пришли, можно показывать друзьям, выходящим на кухню покурить. Художник Олег Котельников не знает, где его станковые работы. Так получилось. А самого Олега не спросишь. Вместо ответа он махнет рукой, фыркнет: «Не умничай, неформал!»

\* \* \*

Дружный многоязычный хор звучит сквозь века, сливаясь в недовольное скучающее жужжание. Иногда из него выплывают отдельные слова, складываются во фразы. Тональность задана раз и навсегда. Присоединяющиеся к хору безошибочно угадывают ее. С радостным удивлением узнаешь говорящего. Вот Братья Гонкур, проезжая по улицам Парижа, как раз между 48-м годом и Коммуной, как раз между романтической битвой и «бомбой» импрессионистов; меланхолично рассуждают: «Что особенного происходит в жизни? Ничего. Какое романтическое происшествие, какая неожиданность возможны в XIX веке? Никаких». Вот кабатчик отказывается принять в уплату рисунки Модильяни: художники — те в Лувре висят, давно умерли; а эти, за столиками «Ротонды» — так, тусовка. Вот лучшие историки Франции утешают читателей: все хорошо, история закончилась, все уже создано, не будет больших войн, революций, не будет шедевров живописи и поэзии, мы пришли в благословенную гавань, где царят безопасность и спокойствие. Мы смеемся над ними: бедные, как им было скучно. Они не догадывались, что впереди Пикассо и Хлебников. Мы плачем: счастливые, как им было просто. Они не догадывались, что впереди Освенцим и Колыма. Мы легкомысленно забываем о них. Мы не узнаем их интонаций у тех, кто рядом, кто слышен так отчетливо и говорит так убедительно (скромность всегда убедительна): «Вот и все. Смежили очи гении...» Конечно, куда уж нам быть современниками гениев. Все конечно, все создано, остались дружеские игры, остались

несерьезные молодежные забавы, а искусство, ах, искусство закончено, смежили очи гении. И как ни сожалею, ничего не исправить. И как ни призывай новых, они не придут. «Пришли иные времена, вззошли былые имена. Кто владеет умами, сердцами? Все те же. (...) Где новые? Нет их. Увы» (А. Минкин. По направлению к Некрошоусу) (Огонёк, 1987, № 38, с. 14—15). Тут же речь не об ушедших гениях. О поколении, рискнувшем жить (хуже — петь и танцевать) в годы так называемого «застоя» и по определению ни на что не способном. «Непослушные дети», «дети тишины», «задержанное поколение», — говорят те, кто уважает и искренне (не всегда успешно) старается понять. «Поколение в масках», — те, кто страдают от невозможности контакта. «Граждане ночи», «циники», — те, кто ненавидят.

Оппоненты слабо, необудительно возражают. Режиссер А. Учитель снимает на «Ленфильме» «Рок»: полтора часа зрителей убеждают, что Б. Гребенщиков умеет изъясняться правильным русским языком, а рокеры способны иметь детей. Сколько десятилетий пройдет, пока заметят, что Б. Г. не только правильно говорит по-русски, но и пишет прекрасные стихи? Московский художник И. Кабаков дует нам 50 лет, чтобы привыкнуть к «старшему авангарду», то есть к нему самому. А к «младшему»? Сто? А пока делать вид, что его нет?

Конечно, куда привычнее для уха, когда Виктор Цой (рок-группа «Кино»), кидая лопатой уголь в котельной, с явной (не для всех) издевкой объясняет, как он рад дарить людям тепло. Но об огне в котельной не споешь: «Неистов и упрям, гори огонь, гори». Другой огонь — другая музыка.

А. Вознесенский радуется: вот отдадут художникам ГУМ, они там хэппенинг будут показывать. Не будут, уважаемый Андрей Андреевич! Сдохнут — не будут. Хэппенинг тем и хорош, что его время и место никому не известны. Другая музыка — другие игры. «Странные игры». Была в Ленинграде такая рок-группа.

Так трудно почувствовать гармонию в несвязном для непривычного уха шуме, узнать Космос под маской Хаоса. «Борис Борисович, что нужно, чтобы понять ваши песни?» «... а) быть человеком; б) желательно уметь думать; в) слушать». Это не только о песнях. Это так просто. И так трудно. Легче: «А новые где? Нет их. Увы». Легче: «Это все уже было».

Не было. И здесь они. Гении — не гении — там видно будет. Художники, поэты, музыканты, журналисты.

Персонаж какого-то давно читанного романа все время спрашивал: «А знаешь, что самое смешное?» (За этим, естественно, следовало: «А у меня теща умерла. Ха-ха-ха!»). А знаете, что самое смешное? То, что новые называли себя «новыми».

— Как, вы не хотите быть понятыми?

«Есть люди типа типа», — отвечает Борис Гребенщиков.

— Как, вы не ссылаетесь на авторитеты?

«Я создаю Театр Театр», — отвечает Борис Юхананов.

— Кто же вы такие?

Мы «новые», — отвечает Тимур Новиков.

«Что с того, что мы немного того?»

«Что с того, что мы хотим танцевать?» (В. Цой)

Один человек, талантливый поэт и режиссер из поколения «новых», уверял меня, что величайшая строка XX века принадлежит Пабло Неруде: «И кровь детей текла по улицам просто как кровь детей». Предмет сравнивается только с самим собой, ассоциации отсечены. Типа типа. Театр Театр. Новые «Новые». Такая вот тавтология.

1986-й вывел «новых» к массам. «Бомба» взорвалась на майском празднике в Петропавловской крепости. Первая в жизни возможность «оттянуться», отбросить на время заботы привлекла десятки тысяч людей. И перед ошарашенной толпой взвились, как чертики из коробок, звезды андерграунда, обладатели глухой, таинственной славы: пропитанный музыкой до кончиков пальцев Сергей Курёхин; хитроумный Тимур Новиков, дирижирующий





К. ХАЗАНОВИЧ. ИГРА БУКВ.



Т. НОВИКОВ. ПОРТРЕТ С. БУГАЕВА.

игрушечным пистолетом; ослепительно улыбающийся, выбивающий немыслимую дробь из железного хлама Сергей Бугаев — Капитан Африка и многие другие, чьи лица слились в одно яркое пятно. Что они кричали, что пели, какую музыку играли и что рисовали на стенах с победным воплем «Асса!», не так уж и важно. Просто ходили на ухах, но это был потрясающий момент истины, когда люди обрели способность смотреть и слушать. Это была великая битва на полях революции сознания. Кто-то, наверное, испугался. На следующий год праздник увял, лишенный мистериального безумия «новых», а еще через год увенчался бессмысленной давкой.

«1986-й обнажил циников. Из циников не выходят поэты», — написал недоброжелательный критик. Цинизмом старшее поколение поспешно окрестило новую степень свободы. Беда шестидесятников была в отсутствии мыслительных альтернатив происходящему. Оставаясь в одной системе координат с преследователями, они обреченно вновь и вновь принимали предложенную им «свободу Норильска и Воркуты» (А. Галич). «Новые» же последовали совету Махатмы Ганди делать вид, что врагов не существует, и построили свой, «новый», мир, где каждый был «свободен, наконец-то свободен».

И никакой рефлексии. «Бананан, — ласково обращается к герою С. Бугаева в фильме «Асса» злодей Крымов. — Это ты написал «Мочалкин Блюз»? «Ах, Гребенщиков... А кто это?»

Ну как ответишь на такой вопрос? «Это Боб. От него сияние исходит». И этим все сказано.

\* \* \*

Ленинградская, петербургская «странность» — не выдумка

Андрея Белого. Она реальна, как слоеный пирог. Верхний слой, твердый, как панцирь черепахи. — мертвая книжная романтика: скороговорка литературных адресов, студент с топором, геометрия улиц и симметрия наводнений, призраки в екатерининских мундирах. На этом уровне контакта с пресловутой странностью напрямую не достичь. Упорные должны выйти на иной уровень. Не праздновать поспешно свое приобщение к городу, а сделать шаг в сторону от Невского, от Фонтанки, от Литейного и в немыслимых трущобах (Слава Богу, что они целы, не вымыты, не продезинфицированы, как в Москве) задать вопрос: чем жив этот город? Где ангелы-хранители, благодаря которым дома не истерлись, не истаяли от прикосновений глаз читателей Достоевского? Нормальный взгляд бессилён. Необходим легкий сдвиг яви: «Крыша едет». И есть места, где он ощущается физически, грубо и реально до судорог.

Улица Чайковского, 20. За сотню метров прохожий вздрагивает от легкой вибрации атмосферы. «Холодно — горячо» — ищет источник. Все труднее продираться сквозь плотный, звенящий, колющий электрическими разрядами воздух. Подворотня, другая, выбоины в асфальте, ржавые подвальные двери, пробежали испуганные дети с мячом. С ног сбивает горячая волна музыки. Весь двор-каньон среди желтых стен пустых, выселенных, «капитальных» домов полон ею. Она бьет под высоким давлением из заключенных железом окон, медленно стекает с чердаков, притягивает, как магнитом, остервенелыми экзерсисами одинокого барабанщика. Морок не исчезает, когда в точке пересечения музыкальных потоков материализуется пожилой озабоченный мужчина в неизменном костюме-тройке, мягкой шляпе и очках на резиночке. Белоснежные манжеты под панк-рок на фоне искореженного железа способны вызвать истерику,



но уважение к их обладателю удерживает от бурной реакции.

Олег Михайлович. Король «капитальных» домов. Император трущоб. Президент музыкально-художественного клуба «Низкие частоты — высокие частоты» («НЧВЧ»). Отец рокера и сам — сюрреалистическое дитя, играющее волшебной палочкой. Благодетель художников и музыкантов. Ложноклассический бюст Олега Михайловича смущает гипсовым величием среди ярких полотен галереи Клуба — так художники отблагодарили своего президента. В его владениях мы найдем того, кто расскажет, как все начиналось, того, кто с гордостью говорит: «Новые» — мои дети». Вверх, вверх по узкой лестнице, мимо музыки, мимо мусора, мимо надписи «Velvet underground», мимо пригравшегося бездомного пса, повинаясь энергичной стрелке и короткому призыву «Иди», начертанному на стене.

Бориса Николаевича Кошелюхова надо видеть. Как описать его легендарный облик — нестриженные и нечесанные уже четверть века волосы, бесформенную кофту и рыжее пальто, проглатывающее кисти рук, широкополую шляпу? Самая органичная рама для его портрета — разрушенные дома, затопленные подвалы, чердаки с метровыми тараканами. Это он приучил художественную молодежь шляться по капитальным домам. Ученики подтрунивают над ним — «Боря всем хорош, но слишком похож на художника» — ссорятся из-за пропавшего тюбика краски и искренне уважают. Между тем, приехав из Златоуста в Ленинград, он не помышлял заняться живописью. Учился на врача, работал грузчиком, шофером, художником по свету в цыганском театре «Разноцветные кибитки». Часами священнодействовал — играл в шахматы, попивая кофе в знаменитом «Сайгоне», куда и сейчас его пустят перед самым закрытием, когда пестрая толпа напрасно заискивает перед грозной защитницей дверей пресловутого кафе. («Ротонда» известна всем. А Бергманис воскресил на страницах «Родника» «Козу», пусть прозвучат добрые слова в адрес «Сайгона»). Чашка кофе в «Сайгоне» — ленинградский ритуал. Слова «маленький двойной и воды поменьше» войдут в историю советского искусства так же, как формула «сутки через трое», определяющая режим работы в котельных. Б. Кошелюхов пьет маленький восьмерной. Сохранив, несмотря на штудирование Канта, божественную наивность провинциального монстра, он поверил словам старшего друга, живописца Клеверова, умиленного вышеупомянутой наивностью: «Боря, да ты же художник!»

Борис Николаевич поверил, результатом чего явилась цепная реакция непредсказуемых событий. 1976-й год был не лучшим для ленинградских художников. После первых двух выставок нечленов Союза художников наступила полоса неуверенности, конфликтов, эмиграции. Разнеслась кошмарная весть о гибели живописца Е. Рухина, заживо сгоревшего в мастерской. Художники, решившие устроить выставку протеста на Петропавловке, до крепости не дошли — их задержала в пути милиция. Легенда гласит: дошел один Б. Кошелюхов, поскольку никто не догадался, что находившийся в его руках предмет имеет отношение к искусству. Этот момент принципиально важен.

«Авангардисты» 1960—70-х годов принадлежали, на самом деле, к уже традиционным для XX века направлениям, осознавали себя в определенном общемировом контексте. Героическими усилиями они показали, как развивалось бы советское искусство в нормальных условиях: без монополии Союза художников, без невежественных хунтителей «модернизма», без лагерь и бульдозеров. Но показали с существенной задержкой. О появлении Авангарда без кавычек возвестила доска с прибитыми к ней ночным горшком и копейкой в руках Б. Кошелюхова. Авангарда — то есть явления, балансирующего на грани искусства и жизни и еще не создающего себя искусством; блаженного состояния, когда проведенная на стене черта может оказаться открытием, а может — досадной порчей обоев. Серьезное отношение милиции — в крепости его все-таки арестовали — окончательно убедило Б. Кошелюхова в его высокой миссии. Последовали примерно 150 объектов (детали он находил на помойках; позже художник Инал Савченков будет на помойках же «забывать» свои картины), которые автор с очаровательным невежеством именовал концептами и давал им глубокомысленные названия «Зуд технократа», «Пространство и время», «Восклицание». Настоящий концептуализм в Ленинграде не прижился. Надо жить в таком психически нормальном городе, как Москва, чтобы прилагать дополнительные усилия для эстетического осмысления идеи. «Новый» в течение двадцатиминутной прогулки совершит дюжину поступков, которые в столице были бы сфотографированы, зафиксированы и опубликованы. В 1981 Тимур Новиков и Иван Сотников выехали за город и на «поле чудес» старательно повторили традиционные концептуалистские пассы: копали ямы, натягивали веревки. «Отметившись», они с радостным чувством исполненного долга вернулись домой.

Ныне картины Б. Кошелюхова — неотъемлемая составная ленинградских выставок. Он из тех художников, которым даровано божественное косноязычие. Грубые косоугольники громоздятся друг на друга, захлебываются в вязкой массе ярких красок, мучительно мутируют в антропоморфные формы. Но десять лет назад его работы не хотели брать даже на полу- и совсем нелегальных выставках. Что же, прекрасно! Если Магомет не идет к горе... В 1977 он объединил молодых художников (Н. Алексеева, Н. Полетаева, Е. Фигурину, М. Горошко, А. Васильев, Л. Федоров, Т. Новиков и др.) в группу «Летопись». На регулярных встречах по вторникам гуру Кошелюхов проповедовал три принципа.

«Работать, работать и работать». Не просто работать — вкалывать, фигачить. Остервенело, истерично, неутомимо. Не заботиться о долговечности созданного, о вербальном обосновании своего творчества, не прятаться за идею. Б. Кошелюхову были нужны не робкие интеллигенты, оглядывающиеся на традиционную живописную культуру, а дети современного города, опыненные им. Новое переживание города стало затем важнейшим элементом «нового» сознания, ярче всего проявившись в панке. Города, как природного организма, лишенного социальных причинно-следственных связей. Мы не спрашиваем у дерева, почему оно растет именно здесь. Не стоит задавать вопросы и городу. Истрепанная метафора «джунгли большого города» потеряла кавычки.

«Все художники, но не все об этом догадываются». Социуму выгодно подавлять творца. Для его освобождения нужна радикальная революция сознания, а не получение диплома о высшем художественном образовании. Под радостный крик Тулуз-Лотрека «Наконец-то я научился рисовать!» XX век низложил критерий умения и возвел на престол критерий выразительности, удивлялся Пиромани и таможеннику Руссо, создавал музеи примитивов. «Новые» коллекционируют коврики с русалками, лебедями и васнецовскими богатырями. В 1986 живописец и писатель Владислав Гусевич возмущал Клуб любителей народного творчества. Его визитной карточкой стали слова малийского музыканта о том, что под воздействием народной музыки крыша (дома) может не только съехать, но и улететь насосем. По-моему, присутствовавшие на выступлении Клуба чиновники ничего не поняли, но слова «народное творчество» оказали на них магическое действие. Сам Владислав Брониславович — живое доказательство второго принципа Б. Кошелюхова. Уроженец Фастова, профессиональный рабочий высокой квалификации, джентльмен в душе, он занялся живописью в тридцать лет. Как настоящий примитив, очень серьезно относился к выбору темы. Доминировала африканская проблематика: «Голос Африки (Винни Мандела выступает на митинге в защиту своего мужа Нельсона Манделы)», «Воин ислама»; «Интеллигент из Кении». Сосредоточенные плоские человечки в белых хламидах на фоне девственно-желтого песка, зигзагов гор и веселого голубого неба. Порхающие в воздухе борцы в полосатых штанах — в три раза больше зрителей — заставляют весь мир кружиться в темпе их поединка. Поиски уводили В. Гусевича все дальше и дальше, к самым истокам живописной культуры. Он отождествляет себя с художником каменного века. В этом нет кокетства, попытки стилизации. Только способный к настоящей созерцанию человек мог так, со всех точек зрения одновременно увидеть бизонов, пересекающих реку-дерево (крона-облака), на острове, посреди которой (которого?) выросло другое дерево.

«Пишем душу — на чем угодно, чем угодно». «Новые» довели этот принцип до апогея, до абсурда, рисуя на стенах и окнах, досках, клеенках, полиэтилене, занавесках для ванн комнат, киноленте, спичечных коробках, сигаретах, фотографиях, ткани. Исчерпав земные ресурсы, С. Бугаев потребовал организовать экспедицию для росписи Луны.

После первой квартирной выставки (конец 1977) группа «Летопись» сделала вид, что не понимает, в какой стране живет, и подала заявку на официальную выставку. Б. Кошелюхов в этом не участвовал, поскольку уехал в Италию. Правда, через несколько месяцев он вернулся, проклиная буржуазное искусство. Его итальянская выставка если и не повлияла на общеевропейские процессы, то, во всяком случае, предвещала переход от концептуализма и гиперреализма к возрождению чисто живописных ценностей, к раскованной экспрессивной манере.

С его отъездом группа не распалась. Не знаю, был ли весной 1978, в свои двадцать лет Т. Новиков мотором группы, но сейчас он выдающийся организатор, собранный, неутомимый, не подавляющий, как Андре Бретон, порывы своих соратников, но оформляющий их индивидуальные поиски в одно мощное движение. Подобно многим интеллигентным ленинградским мальчикам, он прошел сквозь кружки в Эрмитаже и Русском музее и до сих пор, выставясь в США, Англии, Швеции, гордится, что его детский рисунок побывал на выставке в Индии. Работая сериями,





Т. НОВИКОВ. СТРОГИЙ ЮНОША.



И. СОТНИКОВ. ФИГУРА.



А. КОЗИН, О. МАСЛОВ. ДО СВИДАНИЯ, ДРУГ МОЙ, ДО СВИДАНИЯ...

он шел в городских видах от традиционно-питерской ночной, затем — зеленовато-туманной поэзии брандмауэров и каналов, через графический экспрессионизм к радостным парадным пейзажам. Но, созрев для перехода к своеобразному классицизму, обманул судьбу и занялся на ткани экспериментами с фактурой и пространством. Вкус редко подводит его. Тимуре достаточно свести воедино два куска ткани разного рисунка, небрежно приклеить смятую шелковую ленту, прикоснуться кистью, и рождается подводная лодка, ведущая бой на большой глубине, или один-единственный на всю бескрайнюю степь домик.

Выставку «Летописи», естественно, не разрешили. Картины свезли в штаб группы — превращенную когда-то в жилой дом, затем выселенную церковь Кирилла и Мефодия, где обосновались несколько художников, в том числе Т. Новиков. Можно сказать, что разрисованные ими подвалы церкви были ареной первой «капитальной выставки», то есть динамичной операции по захвату и тотальной эстетизации обреченного на полную переделку здания.

(На последнюю такую выставку (осень 1987) я полз сквозь строй призраков по широкой лестнице, усыпанной битым кирпичом и штукатуркой. Из-за заколоченных дверей плыли материализовавшиеся воспоминания о прежних хозяевах — звуки рояля, детский смех. Старый дом агонизировал, но перед смертью отдавался в руки художников. Стены от пола до потолка покрывали обаятельные диверсанты с моторчиками на спине, космонавты и кометы, портреты героической Стрелки, убитые космическим излучением динозавры. На кухне стены взрывались коллажами, а по плитке полз, оставляя яркие следы, нарисованный еж. В этом доме на живописца И. Савченкова зимней ночью напала змея — нарисовал он ее, что ли, на свою голову? Странно, но именно об этом доме я читал у Лидии Чуковской: «Дом № 28 оказался облупленным особняком почти у самого моста, Софья Петровна вошла в парадную — роскошную, но грязную, с камином, с огромным разбитым трюмо и мраморным купидоном без одного крыла. На первой ступеньке величественной лестницы, подложив под спину газету, а под голову — заиндевевший портфель, свернувшись, лежала женщина.

— Записываться? — спросила она, подняв голову. (...)

— Да я, собственно, не знаю, — растерянно произнесла Софья Петровна. — Я пришла поговорить о сыне, которого по ошибке арестовали в Свердловске. ... Сейчас дом № 28 обнесен забором. Суетятся строители. Мне кажется, что в его судьбе есть смысл. Но какой?

1 июня 1978 художники получили от милиции категорическое требование очистить церковь Кирилла и Мефодия в 24 часа, но решили, что этого вполне достаточно для организации выставки. Приглашение участвовать в ней получили и художники — не-члены «Летописи»: все согласилось, но картин не принесли, кто-то принес и унес. Утром 2 июня выставка открылась, но к часу дня атака вооруженных лопатами, построившихся боевой «свиньей» дворников увенчалась победой. Художников вышвырнули на улицу, где они живописно расположили картины, прислонив их к садовым скамейкам, деревьям, ограде скверика. Два с лишним часа простояла первая в Ленинграде успешная уличная выставка. Как водится, милиционеры любезно предложили свои услуги по эвакуации картин. Но первая же работа, которую они стали записывать в машину, была выполнена А. Васильевым по принципу «Работать, работать и работать». Законченная ночью, она не успела высохнуть. Добровольные помощники

вымазались в краске, плюнули на все и позволили довольным художникам с картинами разойтись по домам. После этого эпизода заявки младшего авангарда на выставки, как правило, удовлетворялись.

К тому же, в 1980—82 гг. в Ленинграде прошла первая волна легализации. Вышли из подполья Рок-клуб, литературный Клуб-81. Объединились в Товарищество Экспериментального Изобразительного Искусства независимые художники. К Олимпийским играм открылся Дворец Молодежи. (Странное место — Дворец: то ли он успешно заманил в свою западную левые ленинградские тусовки, то ли был взят ими штурмом). На так называемой «Выставке молодых ленинградских художников» (одному из участников было 84 года) летом 1980 были впервые объединены члены Союза и «независимые». Рядом висели работы выдающегося театрального художника, будущего лауреата Государственной премии СССР Г. П. Сотникова и его родного племянника, будущего «нового» И. Ю. Сотникова, мастеращего ныне из пиджачных пар, белых халатов, черепков, бутылок, моторчиков и проводов двухметровые фигуры летающих «пиджачников». Т. Новиков и И. Сотников вместе с фотографом, дизайнером и живописцем Евгением Козловым, Кириллом Хазановичем и Георгием Гурьяновым составили на выставках 1982 года ядро группы «Новые художники».

Правда, работ О. Котельникова там не было. В официальные выставочные залы их долго не брали как «хулиганские». Хулиганскими должны были казаться его росписи в коммунальной кухне, его страшные, распластанные на холсте женщины. Спустя пять лет он сорвал со стены мешанский коврик с оленями и заставил их кричать «Е-е!» на манер любимых им рок-н-роллеров. Прошлой осенью Олег появился на солидной научной конференции с 16-мм кинофильмом — бесконечным мельканием разноцветных линий и пятен. Через несколько минут часть зрителей поспешно покинула зал, а оставшиеся погрузились в состояние, близкое к нирване. О. Котельников из тех, кого французы называют «проклятые художники», художников, не способных к состоянию равновесия, к длительному оттачиванию найденного приема, художников-камикадзе, каждый шаг которых приближает к смертельному столкновению с социумом.

Таким «проклятым художником» был и Валерий Черкасов (1946—1984). О его страшном конце рассказал ветеран ленинградского рока В. Рекшан в повести «Кайф»: «Я вспоминаю Валеру Черкасова из группы «За», его толковые суждения о музыке и суждения вообще и то время, когда он решил не писать диплом в университете, а стал «дышать» химией. (...) Валера пытался покончить с собой: взял два скальпеля, упер в стод и уронил на них голову, стараясь попасть скальпелями в глаза! Он не умер, даже уцелел один глаз, но не уцелел разум. Он сам хвастался диагнозом: параноидальная шизофрения. Он стал страшен в общении, словно черные шупальцы безумия душили тебя в его присутствии. Говорят, он пытался переложить на музыку Конституцию, озвучивая ее двумя аккордами параграфа за параграфом и записывая на магнитофон. Через несколько лет он умер на кухне своей однокомнатной, жарким летом умер в одиночестве, и пришлось жильцам ломать дверь...» В. Рекшан не упомянул, что В. Черкасов был не только музыкантом, но и интересным художником. Вряд ли преувеличено число его уцелевших работ, которое привел Т. Новиков: десять тысяч. Сам художник с маниакальным упорством нумеровал их. В руках



хранителя черкасовского наследия мелькали, как карты фокусника, фломастерные миниатюры. Откуда-то из-за шкафа появились на мгновение работы маслом на кусках плотного картона. О В. Черкасове нужно писать книгу. Пока ясно только то, что он был художником, интуитивно вычленившим и взвешивавшим первыми элементами изобразительного языка.

Открытия, сделанные В. Черкасовым в истеричном, самоубийственном рыжке, повторил в ином темпе, в иной плоскости Вадим Овчинников. Человек крайне уравновешенный, прячущий острое чувство абсурда за широкой солидностью суждений. На встрече со зрителями он может долго и прочувствованно отвечать на вопрос, потом на мгновение задуматься и прибавить «Или наоборот», перечеркивая только что сказанное. В нем спрятан механизм, улавливающий опасность самотиражирования и направляющий на новый, неизведанный путь. Как из С. Курёхина зримо сочитается музыка, так из В. Овчинникова неукротимо изливается живопись. Холодные, решенные, как математические задачи, абстракции 1970-х годов гарантировали ему коммерческий успех (как, впрочем, гарантировал О. Котельникову успех отвергнутый им наивный сюрреализм). Он плюнул на него и в серии камерных лирических пейзажей вернулся к фигуративной, полупримитивистской живописи. Потом занялся коллажом, жесткими урбанистическими композициями. Потом засыпал друзей сотнями превращенных в произведения искусства писем, вовлек десятки людей в магический круг анонимного почтового искусства, а сам тихо вышел из игры. И все время с удивлением наблюдал, как на его полотнах разрастался сад из запятых, зигзагов и косых крестов. Он загонял их в рамки жанра — подшивал под них куртки музыкантов или припечатывал к жестяному кругу дорожного знака. Напрасно, к 1986—87 годам точки и линии, кресты и запятые победили и превратились в единственных героев живописи В. Овчинникова. В Черкасову он посвятил странные аккумуляции, воспринимаемые автором как стихи и потому названные «Чукотские поэмы». На длинные шнуры Вадим нанизывает не поддающиеся описанию предметы, вырванные из привычного контекста, искаленные. Иногда с некоторой неловкостью узнаешь в этих монстрах (фенечках, штучках) то, что было некогда ключом, часами, камнем. Первая реакция — возмущение вопиющим отсутствием логики. Вскоре вместе с нарастающим удивлением приходит сознание новой, внутренней логики, внутренней драматургии объекта. Между деталями завязываются отношения, они приходят в движение под действием скрытых магнитов, их можно воспринимать на ощупь, а можно использовать как музыкальные инструменты. Пожалуй, здесь есть своя логика, та логика, в соответствии с которой развешенные на бельевой веревке предметы туалета могут принять для приподнявшегося прохожего пугающие обличия. С той же логикой вписывается на чертанные на холсте клетки разноцветные буквы К. Хазанович. Составленные из них слова не читаются ни по вертикали, ни по горизонтали, ни по диагонали: «лупль», «ядном», «злѣжь», «ротен». Но есть в них внутреннее напряжение, есть тайный конфликт, завершающийся глубоким умиротворением. Наверное, был прав Х. Л. Борхес, написав в «Вавилонской библиотеке»: «Какое бы сочетание букв, например, д х ц м р л ч д й — я ни написал, в божественной Библиотеке на одном из ее таинственных языков они будут содержать некий грозный смысл. А любой произнесенный слог будет исполнен сладости и трепета и на одном из этих языков означать могущественное имя Бога».

Начало 1980-ых проникнуто фанатичной верой в это утверждение тогда еще не читанного аргентинца. Плюс уверенность в своей легкой руке. Окопавшись по квартирам, «играли ноль» — извлекали новые и новые звуки из всего, что попадало под руку, даже из музыкальных инструментов. Затянувшийся на неделю ноль-фестиваль с логикой мышеловки поглощал каждого, кто забегал на минутку к Тимуру. Реакция на первое публичное выступление незакомплексованных нолевиков в Клубе современной музыки было однозначна: бред. Зал, заполненный преимущественно джазменами, осиял предводительствуемых О. Котельниковым музыкантов.

Вскоре Т. Новиков и И. Сотников расставили все точки над «ix», подписав на выставке в ДК им. Кирова прямоугольную дыру в стене: «ноль-объект». В произведение искусства превращался любой элипод, любой человек, кадрированный дырой. Оказалось, что ноль — просто-напросто синоним нового взгляда, множитель любого явления, возводимого таким образом в круг новой культуры. Недаром «новые художники» — неизменные участники «Поп-механики» С. Курёхина (см. «Родник», 1987, № 6), выводящего разом на сцену дюжину джазменов, рок-группу, фольклорный ансамбль, восточных музыкантов, камерный, симфонический и военный оркестры, грузовики с солдатами, лошадей, удавов, кур, детей, В. Штоколова, Поллада Бюль Бюль Фегли, исполнительницу романсов, бригаду художников, бригаду

плотников, футуристических монстров, революционных матросов; С. Курёхина, мечтающего о стаде слонов и собственной подводной лодке. Каждый из несовместимых в повседневности элементов под новым углом зрения становится составной частью «нового мира» С. Курёхина, моделирующего пресловутую реальность, поскольку трансформированные элементы, покинув сцену, возвращаются в мир, храня неизгладимый отпечаток «Поп-механики». Моделируют реальность в «новом» ключе и загадочные «вводные слова» О. Котельникова, причувшего друзей (а благодаря С. Соловьеву и весь Советский Союз) восклицать в самой неподходящей ситуации «Асса!» и тем самым превращать ситуацию в подходящую.

Подобно бесконфликтному соединению в «Поп-механике» полярных по определению элементов, восьмидесятники (а «новые», несомненно, выразители сознания целого поколения) выводят на холсты веселый хоровод окружающих нас с детства «бумажных тигров». Врачи-сидисты — реминисценция полетов над кукушечьими гнездами, а может, и «кубизм в белых халатах». Диверсанты и космонавты — результат влияния на неокрепшую детскую психику средств массовой информации. Музыканты — ... так ведь только в Ленинграде в попс въезжают! И что самое главное — нет здесь унижающей художника сатиры, а есть только радостное освобождение и острое ощущение единства мира. Спявшие знаки забыли, на что им велено указывать, и братаются на ничейной полосе. Врач-оборотень впился зубами в палец космонавта, барабанщик Г. Гурьянов замер в позе дейнековского супермена, а снаряд легендарного крейсера провисел надо всей этой... абракадаброй, да? Да. Лев Аннинский точно нашел слово, размышляя о поэзии москвички Т. Шербины. А если еще точнее, то «испорченный калейдоскоп» Ю. Арабова. Или, если вам угодно, «логика бельевой веревки». Или — «перекомпозиция» Т. Новикова. Или — «чукотские поэмы» В. Овчинникова.

Я люблю заходить в уютную маленькую изостудию, где преподает Вадим. С замиранием думаю, что выкинут в искусство его воспитанники лет через пятнадцать? Пока что в Ленинград переехал его талантливый младший брат Александр. Пожалуй, братьев уже можно назвать «павлодарской школой». В Ленинграде повторяется в ином контексте, но в масштабе не меньшем история с «парижской школой», созданной в начале века дружным интернационалом. Первыми нагрянули из провинции Б. Кочелухов, В. Гудевич, В. Овчинников. Только что лихо заявили о себе умело скрывающие интеллигентность под маской цинизма, а профессионализм и разборчивость за готовностью неустанно записывать многометровые холсты веселыми скелетами и пьяными свиньями выходцы из Пензы О. Маслов и О. Зайка.

Как ни странно, но самый большой урожай талантов дал Новороссийск. Речь не о местной группе «Синтез». Речь о появившихся в начале 1980-х в Ленинграде С. Бугаеве, И. Савченкове (недавно к нему присоединился брат Сергей) и Андрее Крисанове — они чуть ли не в одном классе учились! С. Бугаев всегда в центре сложной конструкции из отраженных и падающих лучей легенд и слухов. Многим он известен как Африка. Но посвящена ли ему песня «Аквариума», родилось ли прозвище как воспоминание о песне, или он засвидетельствовал псевдонимом уважение к бывшему налетчику, а затем создателю стиля рэгей и наставнику граффитистов Африке Бамбаатаа? В этом легко запутаться. Боюсь, что после блестящего исполнения главной роли в фильме С. Соловьева «Асса» к Африке может приклеиться дурацкое прозвище Бананан. Звание Королевы Красоты он завоевать не смог, хотя в конкурсе участвовал под именем Ирэнды Белой. Но одно имя, вернее, один титул он, бесспорно, получил по праву. С. Бугаев — ни более, ни менее, как Председатель Земного Шара. Титул «главноуполномоченного приказов Солнца», созданный В. Хлебниковым, перешел к нему благодаря случайной, но закономерной встрече Т. Новикова с двумя девяностолетними дамами.

В 1979 он работал оператором бойлера в Русском Музее (еще одно историческое место: на бойлере в разное время работали художники В. Гоос, К. Миллер, А. Крисанов, А. Николаев). Благодаря этому он не только познакомился с запретной живописью 1910—20-х гг., но на выставке М. Ларионова и Н. Гончаровой (единственный в те годы, помимо выставки «Москва-Париж», прорыв русского авангарда начала века к зрителю) познакомился со вдовой художника С. Романовича М. А. Спендиаровой и художницей М. М. Синяковой-Уречиной (1890—1984, три ее работы воспроизведены в последнем фундаментальном издании «Творений» В. Хлебникова), последней носительницей титула Председателя. Незадолго до смерти она передала его 18-летнему С. Бугаеву. Почему выжидала до последней минуты? Почему не выбрала достойного преемника на десять, пятнадцать, двадцать лет раньше? И как выбирала? Экзаменовала на знание русского авангарда? Мало ли было



не просто хороших художников, но вроде бы близких по духу, штудировавших трактаты К. Малевича и В. Кандинского, проникавшихся матюшинским «расширенным видением» или стерлиговской «чаше-купольной системой»? Почему именно Африка? Он что-то напомнил ей? Возможен такой ответ: для живописцев старшего поколения традиция (как, впрочем, и свобода) существовала как бы независимо от них, наподобие круглой стены, окружающей художника. С одной стороны, ею было возможно овладеть как суммой знаний, а с другой она оставалась надостижимым идеалом. «Новые» растворили субстанцию авангарда у себя в крови. Африка — достойный преемник не потому, что его работы напоминают ларионовские или филоновские, а потому, что испытал, подобно этим художникам, сладостное ощущение «шанса, в котором нет правил» (Б. Гребенщиков), упоение равноускоренного движения в полной темноте, мистическое переживание рождения значительного из нуля. Этим же смыслом наполнен и предсмертный привет Э. Уорхола, передавшего Т. Новикову, С. Бугаеву, О. Котельникову, как скипетр и державу, подписанные им легендарные банки из-под супа «Кэмпбелл».

Авангард — это еще и кураж, возможность, как во сне, прыгать через пропасти, опьянение собственным всемогуществом, метания от одного к другому: и это получается, и это, и это! Каждый «новый» жадно пробует себя во всех видах творчества. Утверждение Б. Кошелохова «все — художники» откорректировано: «все — творцы».

Живопись, объекты, коллаж, рисованные книги? Конечно. «Поп-механика»? Разумеется. Музыка? От дадаистского поля

до выросших из него интеллектуальных коллажей «новых композиторов» И. Веричева и А. Аллахова. Не забудьте проходящую фоном рок-музыку. В. Цой и Г. Гурьянов пишут картины, а Т. Новиков оформляет их концерты. О. Котельников создает и разваливает собственные команды, а недавно сделал с художником А. Медведевым отличный видеоклип группе «Игры». Стихи и проза. Критические статьи до недавнего времени тоже были делом рук самих художников. А что прикажете делать, если до сих пор никто не говорит о серьезном эстетическом феномене без идиотского определения «молодежный»? Где театроведы, которые опишут и оценят спектакли новиковского «Нового театра» «Анна Каренина», «Идиот», «Балет трех неразлучников», «Стреляющий лыжник»? Да и о театре Э. Горюховского, на площадке которого все это происходило, мне не доводилось читать. А между тем это интереснейший ленинградский театр. Кому из киноведов знакомы имена «новых» Е. Юфита и Е. Кондратьева? А кто из критиков осмыслит сам феномен «новой критики», провозгласившей «Все слова — синонимы» (А. Смирнова).

Моя захлебывающаяся скороговорка — лучшее свидетельство: «новая культура» переросла рамки изобразительного искусства, рамки ленинградского феномена. Молодые и энергичные художники приучают нас к новому представлению о красоте.

«И это есть, быть может, кстати,

Та красота, что через год

Иль через два, но в результате

Всю землю красотой спасет»

(Д. А. Пригов).



ФОТОГРАФИИ Ю. ЕРМОЛОВА.

В. ГУЦЕВИЧ. ПЕРЕХОД СТАДА БИЗОНОВ ЧЕРЕЗ РЕКУ ОРАНЖЕВУЮ.



# ВИЛЬГЕЛЬМ МИХАЙЛОВСКИЙ

## ЖИЗНЬ МОЯ, ФОТОГРАФИЯ

Многое в процессе познания определено природой. Определены и границы маленькой бесконечности — одной человеческой жизни. Но заполнить это пространство длиною в жизнь мы обязаны сами.

Обрести свое восприятие мира мне помогли живопись и поэзия, увлеченность которыми принесла столько разочарований и надежд. Затем ворвалась фотография.

Мне трудно определить, ЧТО для меня фотография — Ремесло? Творчество? Искусство? Она несравненно больше. Фотография стала моей жизнью.

Существуют понятия, которые по своей сути поддаются передаче посредством только лишь ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Моя фотография не является регистрацией, фиксацией реальной действительности. Реальность действительности преобразуется в реальность художественных образов.

Фотография — реальность преобразования.

Концентрация чувств, постоянная необходимость остроты и тонкости мировосприятия возводят творческий процесс в степень драматическую. Не каждый способен выдерживать эти эмоциональные сверхусилия.

Фотография — это постоянное преодоление.

Труднее всего преодолеть препятствия, заложенные в самом себе.

Все, чем живу, имеет самое прямое отношение к тому, что я делаю в фотографии. Все, что каким-то образом отражается моим сознанием, может отразиться и в моих снимках. Истоки творчества проистекают из самого обычного ритма, обыденной повседневной жизни.

Я активно использую образ прикосновения. В этом акте мне представляется необычайной сила взаимоотношений человека с миром, к нему подобными. Незавершенность этого действия (прикосновения) сильнее, нежели открытое объятие, в нем столько недосказанности, столько неизвестного, там, впереди, столько открытий... Сам я всю жизнь жду прикосновения, но часто получаю удары — пощечины.

И все же я не могу сказать, что у меня были периоды неудач, потому что все, что было в моей жизни, находит затем отклик в моих работах. И я ценю этот психологический фактор накопления — своего рода аккумуляцию чувств. Все пережитое возвращается к тебе.

А горе — это такое же проявление чувств, как и радость. И в фотографии должно быть — если горе, то непременно сильное, чтобы оно и в тебе вызвало сострадание; если счастье, то настолько яркое, чтобы и другого человека сделало счастливее.

Среднего проявления быть не может — это безликость не только фотографии — самой жизни.

ЧТО мне интересно в моей фотографии? Пожалуй, вначале скажу, что меня меньше всего интересует в ней:

— когда красота создана изначально и доступна, открыта сама по себе. Для восприятия ее не требуется прилагать никаких усилий. Тогда я не могу работать, потому что воспринимаю эту красоту естественным образом — красоту созерцания. Но есть красота скрытая. Такая красота — самая благотворная для фотографа. Когда она открывается — вспыхивает вдохновение. Это — красота постигаемая.

Я не ограничиваю свой взгляд — мне интересно все: пейзаж, архитектура, портрет, человек в активном проявлении, обнаженная натура... Но самое интересное возникает в соотношении этих понятий.

В основе любой моей съемки — репортажный метод. Съемку произвожу, как правило, без предварительной подготовки. Заранее не составляю никаких схем и планов, потому что сориентированное и зафиксированное воображение ограничивает свободу выбора. Самое важное, что есть в фотографии, — собственно миг фиксации изображения. Я должен получить импульс восторга, тогда и снимаю: ищу точку съемки, определяю границы кадра, строю композицию... Все эти параметры определяю с большой долей риска — стремлюсь уйти от стабильных, надежных, оптимальных решений.

Все, что окружает нас, неповторимо, уникально. В каждом мгновении что-то происходит — обновляется мир. Все вокруг изменяется с непостижимой быстротой. Но больше всего изменяемся мы сами.

Ценность творческого результата заключается именно в возможности интерпретировать действительность. Как и каким образом в личности человека преломляется мир, который конкретен и развивается по объективно определенным законам?

В каждом из нас самое интересное не то, как мы «правильно» открываем этот мир, а в той неожиданности преломления этого мира в нас, пусть даже неверно воспринимаемого. Но ведь мы имеем возможность его углубить, изучить, постигнуть!

Приступая к работе над портретом, беру на себя высокую ответственность не только перед портретируемым, но прежде всего, перед временем. Фотограф становится судьей — судит о ЧЕЛОВЕКЕ, а значит о времени.

Относительно простая и легкодоступная природа получения фотографического изображения рождает





АНДРЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, кинорежиссер



АНДРЕЙ КРАСУЛИН, скульптор



инерцию заблуждения — мнение о легкости и доступности создания фотографического портрета.

В подобных рассуждениях происходит подмена понятия: ИЗОБРАЖЕНИЕ и ОБРАЗ.

Сотни фотографических ИЗОБРАЖЕНИЙ портретируемого не всегда обладают энергией ОБРАЗА, сконцентрированного фотографом в одном-единственном портрете. Способность индивидуума через видимое воспринимать глубинные проявления душевного состояния человека, постигать потаенное, сокровенное представляется мне одним из самых великих достижений духовной, интеллектуальной, этической культуры человечества.

Меня волнует в людях прежде всего пережитое ими. Этим и определяя смысл портретной фотографии — сохранить во времени хотя бы частицу того, что пережито, прочувствовано и изведено душами людей, не вообще людей, а конкретным человеком.

И если передо мной известный художник (писатель, композитор, актер...), то я смотрю на него не только через известное знание его творчества.

Первоисточник, который всегда чист, — душа человеческая. Следы жизненных страстей и потрясений оставляют в душах более точные характеристики, нежели самые подробные жизнеописания о них и их собственные свидетельства.

Самым важным в фотографии считаю умение находить контакт с человеком. Должно возникнуть взаимное доверие друг к другу.

Я стремлюсь уничтожить в себе фотографа, подчиняя процесс съемки какому-то внутреннему профессиональному рефлексивному ритму и контролю.

Все помыслы, все устремления сосредоточены на одном — достичь уровня соучастия и сотрудничества.

Взаимное преодоление психологических барьеров требует проявления колоссальной эмоциональной энергии. Временами у тебя внутри все переворачивается от возмущения, ты просто ненавидишь себя и фотографируемого человека!.. Но ты идешь, ты ищешь пути, ведущие к доверию.

В фотографическом портрете происходит наложение двух пространств: бесконечного пространства времени и безграничного пространства души человеческой. Уровень совмещения создает объемность образа человека.

Снять с лица случайное, преходящее, вторичное. Освободившиеся от суеты сует лица обретают большую степень родства — духовного, становятся более близкими друг другу и для меня.

Безусловно, они не такие в повседневности, но я хочу, чтобы они такими были в жизни, в творчестве. Это существенное проявление моей воли — помочь приблизиться к истинному состоянию. Сходство в портрете для меня не имеет решающего значения — я не знаю, с ЧЕМ сравнивать. В каждом человеке столько противоречий, что крайнее проявление их не только будет иметь существенные различия, но и достигнет уровня взаимоисключения. Какое там сходство?

Источник света предпочитаю естественный. Небесное светило сохраняет первозданную природу пластичности лица и несет в себе животворящее начало для любой творческой работы.

...

Мы часто категоричны в суждениях о другом человеке, полагаясь при этом на сиюминутность впечатлений или на случайное знание. Очень трудно выйти из рамок ранее сложившихся представлений, еще сложнее, если эти суждения привнесены извне.

Свободное восприятие не требует усилий на разрушение стереотипов, сохраняя душевную энергию фотографа на непосредственное творчество. Чистое восприятие — путь к искренности.

Представительное знание о человеке, его жизни, творчестве, которым располагаю, стараюсь отвести, исключить, снять, так как знание предполагает дальнейшую работу ума, мне же необходимо вначале воспринять человека сердцем. Очень важен и необходим сам МОМЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЯ.

...

В какой-то момент реально протекающего времени открывается ЛИЦО ИСТИНЫ. Так же, как бесконечно в оттенках душевное состояние человека, — бесконечно в своей многоликости лицо истины. Оно не может принадлежать одному человеку, так как век человеческой жизни ограничен, истина беспредельна.

Если бы удалось кому-нибудь в фотографии запечатлеть абсолютную истину лица, это было бы лицо всех лиц, всеобщее лицо — ЛИК.

Как правило, мы можем видеть лицо настолько, насколько человек позволяет себя видеть. От фотографа требуется иное зрение, не буквальное, а основанное на сложнейших психологических и этических соотношениях, возникающих между фотографом и портретируемым.

В моем портрете отражается ВИДЕНИЕ МНОЙ ВИДЯЩЕГО МЕНЯ. Когда я подолгу вглядываюсь в лицо человека, то ответный взгляд своим острием высвечивает в моей душе оттенки состояний, о которых я не предполагал, — поэтому большая часть моих работ АВТОПОРТРЕТНА. Видение с фотографии — это действие, а точнее взаимодействие человеческих душ. Многие впечатления отразились на моих эстетических и нравственных воззрениях. Но самым большим потрясением было осознание первой, а затем и каждой последующей потери — ухода из реального, «живого» мира ЧЕЛОВЕКА, портретируемого мной.

...

На свои портретные работы мне хотелось бы посмотреть через призму времени.

Время — критик и судья, оно снимает мнимые достоинства (или несовершенства), которые современники изображенного в портрете вносят (или лишают) своим восприятием, оставляя в нас и о нас только истинное.

...

Искусство фотографии начинается там, где кончается ее ремесло. Авторы, понимающие это, используют технические возможности для усиления образности, эмоционального воздействия фотографии, используют в исключительных случаях, тонко, чутко. Удивительная зависимость — чем выше культура автора, тем менее заметны для зрителя приемы, способы, методы чисто ремесленного порядка.

«Опустишь на Землю!» — болью отозвалась запись, обращенная ко мне, в книге отзывов одной из выставок. Стремление к совершенству, высокой образности, раскрепощенности творчества воспринимаются определенной категорией ценителей фотографии как отрыв от реальности.

Человеку испокон веков присуще стремление к полету, ощущение его бережит душу, обжигает сознание. Образность в фотографии — это нервная ткань в сюжетном построении, просто грамотная профессионально-точная фиксация жизненного материала не дает импульса ни для ума, ни для сердца.

Пространство для творчества необъятно, беспредельно, неисчерпаемо. Надо затратить необычайно мощную жизненную энергию, чтобы выкристаллизировать из такой многообразной, неповторимой, обновляющейся, быстротечной жизни ее главные ценности — непреходящие, ВЕЧНЫЕ.



# ВВЕДЕНИЕ В XX ВЕК: ПРАГМАТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

## СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Является ли мое понимание лишь слепотой по отношению к моему  
собственному непониманию?

Л. ВИТГЕНШТЕЙН

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### Смысл и денотат

В 1892 г. Готтлоб Фреге, австрийский логик и философ, один из непосредственных предшественников логического позитивизма и современной философской семиотики, опубликовал статью «Über Sinn und Bedeutung» («О смысле и значении»). Здесь было впервые проанализировано различие между смыслом знака и его денотатом, или предметным значением. Предположим, имеется слово «стол», которое, указывает на некоторый реальный стол (он и будет называться денотатом знака), а с другой стороны, передает некую новую информацию, заключающуюся в отношении между денотатом и самим знаком, в том образе стола, который возникает у слушающего в результате осознания слова (этот образ и будет смыслом слова). Различие между смыслом и денотатом стало предметом исследования Фреге. Он показал, что одному денотату может соответствовать несколько смыслов. Так, например, слово «Иокаста» и выражение «мать Эдипа» имеют один и тот же денотат, одно и то же значение, но при этом они несут различный смысл. Это можно видеть на примере предложения с данными словами:

*Эдип женился на Иокасте*

*Эдип женился на своей матери*

У этих предложений один и тот же денотат (в них обоих утверждается, что один и тот же человек женился на одной и той же женщине), но разные смыслы (второе предложение уже самим соотношением слов как бы в свернутом виде содержит зерно трагедии Эдипа, в то время как первое предложение, взятое само по себе, не содержит ничего трагического). Смысл, таким образом, говорит Фреге, это способ представления денотата в знаке. Но что является денотатом предложения, каким объектам реальности оно соответствует? Фреге показал, что у предложений может быть только два денотата: «и с т и н а» и «л о ж ь», то есть тот факт, соответствует или не соответствует высказанное в предложении суждение (которое является смыслом предложения) реальным фактам. То есть когда человек говорит: «Эдип женился на Иокасте», он произносит высказывание, равнозначное следующему: «Истинно, что Эдип женился на Иокасте». Фреге установил правило взаимозаменяемости, согласно которому, если в предложении поставить вместо одного слова другое, имеющее тот же денотат, то истинность предложения от этого не изменится (а изменится лишь его смысл). Но что важнее в мифе об Эдипе: то, что эти события происходили в реальности или же тот смысл, который несет эта история? Ясно, что второе. Когда речь идет о мифе, вообще непонятно, как здесь можно говорить о реальности, так как реальность и высказывание о ней в мифе слиты в одно. Когда же речь идет о художественном произведении, то ясно, что вообще, как правило, ни одному предложению текста не соответствует ни одно событие реальности. Когда Пушкин пишет «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова», мы доподлинно знаем, что у этого предложения нет денотата вообще, то есть оно ни истинно, ни ложно. Но если предложение не является ни истинным, ни ложным, то в таком случае, оно является

бессмысленным, ибо для того, чтобы сопоставить два смысла, как минимум необходимо соотнести их с одним общим денотатом. Какой смысл имеют выражения «Иокаста» или «мать Эдипа», если мы не знаем, ни кто такой Эдип, ни кто такая Иокаста? Суждение, писал по этому поводу Фреге, теряет для нас всякую ценность, как только мы замечаем, что какая-нибудь из его частей не имеет денотата. Но это противоречит тому, что тысячи лет существует художественная речь, которая не высказывает никаких истинных или ложных суждений. Приведем здесь пример американского философа Дональда Дэвидсона:

Представьте себе следующее, пишет он: актер играет в эпизоде, по ходу которого предполагается возникновение пожара (как в пьесе Олби «Крошка Алиса»). По роли ему положено с максимальной убедительностью сыграть человека, пытающегося оповестить о пожаре других. «Пожар!», вопит он, и возможно, добавляет (по замыслу драматурга): «Правда, пожар! Смотрите, какой дым» — и т. д. И вдруг ... начинается настоящий пожар и актер тщетно пытается убедить в этом зрителей. «Пожар! — вопит он. — Правда, пожар, смотрите, какой дым!» и т. д.

Образно говоря, всякое вранье, не преследующее практических целей, является художественным текстом.

То есть художественное творчество — это не искажение фактов, а оперирование с несуществующими фактами. Можно сказать, что художественное высказывание либо приписывает несуществующим именам возможные предикаты (как это обычно бывает в беллетристике), либо наоборот известным именам приписывает несуществующие предикаты (на этом построены исторический и биографический роман, где известным людям приписываются никогда не происходившие с ними события), либо делает и то и другое, то есть приписывает несуществующим именам невозможные предикаты (так поступает, например, научная фантастика).

Говоря так, мы тем не менее не только не прояснили вопроса, но еще больше запутали его. Ведь для того, чтобы знак мог передавать информацию, необходимо, чтобы как минимум было о чем передавать эту информацию. Знаки без денотатов не могут существовать и не передавать информацию. Художественные знаки существуют и передают художественную информацию. Следовательно необходимо найти те предметы, которые соответствовали бы художественным денотатам.

Говоря о предложениях, Фреге вспоминает о том, что обозначение вещей в главном и придаточном предложении происходит принципиально по-разному. Представим, что существует такое высказывание: «Он уже пришел». Его предметным значением, денотатом, является его истинностное значение, или в терминах американского логика и философа-неопозитивиста Рудольфа Карнапа, его логическая в а л е н т н о с т ь, то есть либо «он» действительно пришел (и тогда это предложение истинно), либо это не соответствует действительности (и тогда оно ложно). Теперь сделаем из этого предложения обычное придаточное изъяснительное, присоеди-



нив его к предложению «Он сказал». Получим, «Он сказал, что он уже пришел». В этом случае логическая валентность придаточного предложения не будет влиять на логическую валентность всего предложения в целом.

То есть истинность того, что «Он сказал о том, что он пришел» не зависит от того, действительно ли он пришел или это вранье. Из этого следует важный для нас вывод: денотатом придаточного предложения и — шире — денотатом любой косвенной речи НЕ может являться ее логическая валентность. Важно это для нас потому, что та же ситуация имеет место и в случае высказывания художественного текста. И в том и в другом случае истинность или ложность редуцируются. Из этого следует, что в определенном смысле художественное высказывание можно приравнять к обычному придаточному предложению — шире — к любому косвенному контексту. Что это значит? Читая художественное произведение, мы как бы все время исходим из презумпции, что это кто-то сказал о чем-то. Что это Пушкин говорит, что «Ог-нажды играли в карты у конногвардейца Нарумова», что это Толстой говорит, что «все смешалось в доме Облонских» и поэтому вся ответственность за истинность этого высказывания ложится на автора (который к тому же давно умер) и именно поэтому истинность этого высказывания, его логическая валентность, нам не важна. Проиллюстрировать еще раз тот факт, что художественное высказывание, есть то же самое, что обычное придаточное предложение может следующий весьма интересный феномен. Называется этот феномен иллокутивное самоубийство. Суть его в следующем. В послевоенное время наряду с такими отраслями знания, как кибернетика, общая теория систем, машинный перевод, математическая лингвистика, в англо-американской науке зародилось направление, которое теперь носит название теории речевых актов. Основатель этого направления английский философ Дж. Остин заметил, что существуют такие высказывания, которые будучи формально равны обычным индикативам, на самом деле отнюдь не производят акт лингвистической рефлексии над действительностью (подробнее см. нашу статью «Поэтика модальности» в № 5 и 7 «Родника» за этот год), а скорее самим актом высказывания совершает некоторое действие в неязыковой действительности. То есть, например, когда председатель какого-то собрания говорит: *Объявляю заседание открытым*, — то он тем самым, то есть самими этими словами, действительно открывает заседание. То есть, если обычные предложения соотносятся с реальностью, как проекция на прямую линию, то речевые акты, к которым и относится данный пример, являются одновременно и высказыванием, и частью реальности, то есть соприкасаются с реальностью, как касательная к окружности. Для осуществления речевых, или иллокутивных, актов в языке существуют особые так называемые перформативные глаголы, то есть глаголы типа *объявлять, одобрять, обвинять, дарить, приветствовать* и т. д., и существует так называемая стандартная перформативная позиция — первое лицо единственного числа настоящего времени, например, —

*Я приветствую вас.*

Так вот, существует ряд перформативных глаголов, которые несмотря на это в стандартной перформативной позиции сами себя зачеркивают, например, глаголы *лгать, клеветать, хвастаться, инсинуировать*. Так высказывание:

*Я клевету на вас* — само себя зачеркивает, то есть совершает иллокутивное самоубийство, потому что, с одной стороны, говорящий заявляет истинность того, что он клеветает, но, с другой стороны, сама семантика глагола *клеветать* свидетельствует, что он при этом говорит неправду, то есть клеветает. (Феномен иллокутивного самоубийства исследовал американский лингвист Зино Вендлер). И вот — здесь мы подходим к сути примера, — если перевести этот «иллокутивный суицид» из прямого контекста в косвенный, то есть тем самым отняв у предложения его логическую валентность, то феномен иллокутивного самоубийства пропадает. «Он сказал, что я клевету на вас» — вполне нормальное предложение. И здесь-то совпадают функционально придаточное и художественное предложения. Ибо в художественном контексте такие предложения возможны и на правах формально главных. Представим себе, например, что персонаж абсурдистской пьесы Ионеско говорит: «Я клевету на вас». Это в данном контексте вполне возможное высказывание.

Но что же в таком случае является в художественном тексте эквивалентом главного предложения (ведь если есть придаточное, то должно быть и главное)? Таким эквивалентом (и это подсказывает уже этимология) является заглавие художественного текста, заглавие, которое в свернутом виде

говорит: «Это повествование о том, что произошло то-то и то-то», и вот содержанием этого что как раз и является художественный текст, функционально равный придаточному предложению, и именно поэтому имеющий значение безотносительно к правдивости или ложности того, о чем там говорится.

Вспомним, кстати, что современные короткие, чисто номинативные заглавия происходят от древних заглавий, которые были либо очень развернутыми, либо просто представляли собой первое (и, тем самым, главное) предложение текста. То, что мы сейчас называем «Повесть временных лет», на самом деле называлось по первому предложению: «Се повесть временных лет, откуда пошла есть русская земля, кто в Киеве начал первым княжить» и т. д. Эту традицию воспроизводит Пушкин в полном заглавии «Сказки о царе Салтане»: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Что же является денотатом придаточного предложения? Ответив на этот вопрос, мы тем самым ответим на вопрос, что является денотатом художественного предложения, то есть о чем, собственно говоря, рассказывает нам искусство, о каких событиях реальность?

Согласно теории Фреге, денотатом придаточного предложения является его смысл, то есть высказанное в нем суждение. Сравним два предложения:

*Вчера была хорошая погода.*

*Он сказал, что вчера была хорошая погода.*

В первом случае предложение говорит об истинности или ложности того, что было вчера с погодой. Второе предложение в целом говорит об истинности или ложности того, что «он» сказал о вчерашней погоде. В первом случае денотатом высказывания будет истинность или ложность того, что погода вчера была хорошей, во втором случае денотатом этого высказывания будет высказанное в нем суждение, что вчера была хорошая погода, то есть само это высказывание. При этом, если невозможно сказать: *Вчера была хорошая погода, но это неправда*, — то вполне можно сказать: «Он сказал, что вчера была хорошая погода, но это неправда».

Теперь, пользуясь доказанным нами положением о функциональной эквивалентности придаточного и художественного предложений, можно сделать вывод, который нам сначала покажется парадоксальным: денотатом художественного высказывания является само это высказывание как высказывание обычной внеэстетической речевой деятельности. То есть если логический анализ обычного предложения «Он уже пришел» разворачивается как «истинно, что он уже пришел», то в случае художественного предложения он будет развернут по-другому: «истинно, что высказывание «Он уже пришел» является осмысленным высказыванием русского языка». Но действительно, о чем же еще нам может сказать фраза «Все смешалось в доме Облонских», если мы знаем, что никаких Облонских никогда не существовало. По-видимому, только о том, что это предложение вполне осмысленное, что так по-русски говорят, что такие предложения «бывают».

Заметим, что такие предложения изредка встречаются и в обычной речевой деятельности, но либо по ошибке, либо в контексте научной рефлексии над естественным языком. Например, издавно в лингвистической философии бытует пример Бертрانا Рассела — предложение «Нынешний король Франции лис», которое будучи произнесено в любой момент времени после 1871 года, после франко-прусской войны, то есть после того, как Франция стала республикой, тоже не является ни истинным, ни ложным. Назовем подобные фразы экстенционально бессодержательными (то есть бессодержательными из-за отсутствия у них денотата). Подобные фразы во многом провоцируют высказывание на художественный контекст. Предположим, что фраза «Нынешний король Франции лис» произносится в ситуации розыгрыша. Например, некто А говорит своему приятелю Б: «Ты знаешь, нынешний король Франции лис», а невежественный приятель отвечает: «Так ему и надо». В этом случае мы как бы подсмотрели самый момент рождения fiction, когда фраза употребляется не в ее истинностном значении, а с тем, чтобы проиграть эффект отсутствия у нее истинностного значения. Когда важно именно то, что приятель Б реагирует на неё как на имеющую истинностное значение, в то время как на самом деле это не так. Можно предположить в этой ситуации присутствие приятеля С, который встретит данную фразу здоровым хохотом (это во многом подобно эффекту интимизации, о котором еще будет идти речь в дальнейшем). Мы присутствуем здесь при зарождении одного из ключевых жанров прозы в момент перехода от обычной речевой деятельности к fiction —



жанра анекдота, который еще минимально оторван от обыденной речевой стихии, еще очень сильно в нее вовлечен, но уже является эстетическим поведением, а не только бытовым. В этом состоит значение анекдота, который всегда строится на зоре между двумя типами означивания, между смыслом и денотатом, на игре слов, или, как в данном случае, на игре предложений, вернее, их логической валентности. Анекдот — важнейший этап на пути построения беллетристики, так как в нем внимание с собственно передачи информации о наличии или отсутствии тех или иных фактов переносится на сам язык. Таким образом, мы можем сформулировать еще одно положение: художественная проза не является отражением действительности, как об этом любят говорить школьная эстетика; действительность отражается посредством самого языка в его обычных речевых проявлениях; художественная проза является отражением самого языка, рефлексией над языком, изучением языка, проникновением в его глубины и скрытые возможности.

В этом плане актуальный феномен представляет собой детская эгоцентрическая речь, которая является не столько освоением реальности, сколько освоением языка. Именно потому дети часто повторяют одни и те же фразы совершенно не подразумевая при этом высказывания истинных или ложных суждений. Именно потому для ребенка так важны сказки, которые он любит слушать по многу раз, не затрудняя себя восприятием логической валентности высказываемых в сказке суждений. По сказкам ребенок обучается языку.

Художественная проза, таким образом, необходима как процесс самообучения культуры своему языку, закрепления существующих в нем смыслов и обогащения новыми смыслами. Художественная проза берет в качестве строительного материала естественную речевую деятельность в той же мере, в какой язык в качестве строительного материала берет саму реальность. В этом смысле искусство прозы — это искусство предложения, а не слова (последнее относится скорее к поэзии).

Каким же образом художественное творчество обогащает наши представления о языке, как оно путем обогащения языка обучает нас миру? Вспомним, что у одного денотата может быть несколько смыслов, об одном и том же можно сказать по-разному и по-разному осмыслить одно и то же.

Представим себе случай простейшего употребления предложения «М. вошел в комнату». У этого предложения кроме его предметного истинностного значения, то есть соответствия или несоответствия реальному положению, до, в момент его произнесения, есть и смысл. Смысл этот в зависимости от конкретной ситуации будет меняться (подобно тому, как слова отдельно не встречаются вне предложений, так и предложения реально не употребляются вне контекста конкретной речевой деятельности, письменной или устной). И вот в одной ситуации, предположим, в ситуации, когда этого М. долго ждали и он наконец явился, — это высказывание вызовет у присутствующих вздох облегчения; в другой ситуации, когда, предположим, этого М. подстерегают наемные убийцы, высказывание «Он уже пришел» станет непосредственным сигналом к действию; в третьей ситуации, предположим, в отсутствие этого М. ведутся какие-то разговоры, которых нельзя вести при нем, и тогда это высказывание будет означать сигнал к прекращению разговоров. И так далее. Но теперь, предположим, этой фразой начинается рассказ: «М. вошел в комнату». Оторванная от контекста, эта фраза ничего не сообщит нам кроме того, что она принадлежит нашему обычному русскому языку. Но зато смысл этой фразы будет гораздо богаче, чем смысл каждого из ее употреблений в перечисленных ситуациях, так как, поскольку в последнем случае ситуация не дана, то для человека, свободно владеющего языком, все возможные ситуативные смыслы этой фразы будут восприняты одновременно. То есть как художественное высказывание эта фраза будет гораздо информативнее, она будет включать в себя смыслы всех возможных контекстов, языковых игр (термин позднего Витгенштейна), в которые она могла бы войти. А поскольку как элемент художественного текста эта фраза вообще освобождена от своего истинностного значения, то все внимание читателя будет приковано к тому, какой смысл из всех возможных она приобретет в дальнейшем развертывании сюжета, на какую языковую игру она наложится, то есть в конечном счете, — к какому жанру прозы она будет отнесена. Если из дальнейшего изложения будет ясно, что речь идет об убийстве этого М., то перед нами детектив; если он опоздал, то это бытовой рассказ и так далее.

Таким образом, вторичный художественный жанр формируется путем наложения предложений, относящихся к первичным речевым жанрам, или языковым играм, на конкретный контекст художественного нарратива.

Заметим, что до сих пор мы говорили исключительно о художественной прозе, не затрагивая поэзию. Действительно, многое из того, о чем говорилось здесь, к поэзии неприменимо. И в первую очередь тот факт, что в поэзии не действует закономерность, в соответствии с которой предложение при переходе в художественный контекст лишается своей логической валентности.

Сравним два предложения:

Все случилось в доме Облонских.

Она пришла с мороза.

Для нормального восприятия первой фразы в качестве художественного текста представляется необходимым осознать, что на самом деле ничего не происходит, но этого совершенно не нужно для нормального восприятия второй фразы. Мы вполне можем себе представить, что в реальной жизни Блава существовала такая ситуация, когда «Она пришла с мороза». Получается довольно парадоксальная вещь: проза, которая призвана уподобиться обычной речи с ее высказываниями об истинности или ложности чего бы то ни было, должна лишить себя значений истинности; в поэзии, которая вообще не претендует на воспроизведение реальности, логическая валентность предложения остается нетронутой. Вспомним, что проза в принципе связана с индикативом, для которого как раз характерно истинностное значение, а поэзия — с конъюнктивом, который к нему безразличен (см. «Поэтика модальности»). То есть проза, изображающая взаимную зависимость между предложением и реальностью, лишает свои предложения этой взаимной зависимости; поэзия, изображающая взаимную независимость предложения и реальности, сохраняет взаимную зависимость предложения и реальности.

Этот парадокс снимается психологически тем, что для поэзии сам феномен предложения вообще не слишком важен. Поэзия не изображает предложений. Здесь она во многом солидарна с обычной речевой деятельностью, хотя и значительно расширяет ее рамки. Проза изображает предложения. И целые блоки предложений, речевые жанры. Поэтому она отказывается от самого главного в предложении, от его логической валентности.

В поэзии ритм позволяет вывести ее за границы обыденной речи, сам ритм маркирует ее как речь художественную. Можно сказать, что предмет изображения поэзии — это не речь, а нечто другое. И в этом смысле поэзия и проза — совершенно разные искусства, т. е. проза изображает именно речь. Поэзия изображает при помощи слов наши эмоциональные состояния, то есть те аспекты нашей жизни, которые изначально ритмизованы. Это может быть и сама речь, но это может быть и вообще нечто ритмическое, восприятие чередований дня и ночи, любовный акт, открывание и закрывание дверей, гребля, противопоставление гласных и согласных, мужчин и женщин, молодости и старости, жизни и смерти. Это, конечно, весьма примитивизированная теория поэзии. Я хочу здесь подчеркнуть, что в поэзии важен именно ритм, то есть возможность одно и то же рассказать по-разному и найти сходство в различном». Это классическое определение стихотворного ритма, данное Ю. М. Лотманом в книге «Анализ поэтического текста» (Л.: «Просвещение», 1972), позволяет и для поэзии осознать важность феномена двойного означивания, смысла и денотата, интенционала и экстенционала. Но на уровне слова, а не предложения! Повторяю: проза и поэзия — это разные искусства. И различие между ними можно продемонстрировать при помощи самих понятий смысла и денотата.

Ведь на самом деле, как известно, не существует резкой границы между прозой и поэзией. Существует ряд побочных и промежуточных явлений: с одной стороны, стихотворный роман Пушкина, с другой, метрическая проза Белого. Да и в самой прозе существуют отдельные предложения и даже целые периоды, которые сохраняют логическую валентность, служа переходом между прозой как беллетристикой, и другими видами текстов — философскими, юридическими, научными. Так, например, самое первое предложение «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга...» — является обычной житейской-философской максимой и в этом своем проявлении полностью сохраняет свою логическую валентность, то есть является истинным или ложным суждением. В «Войне и мире» таковыми оказываются целые философские пассажи вплоть до последней части эпилога. Конечно, сохраняя истинностное значение, эти фразы, так или иначе, влетаются в художественную ткань произведения, интенционализируются, но значительно более сложным образом, и разговор об этом пойдет во второй части нашего исследования.

(Окончание следует)



# ROCK IN THE USSR

48



Ляпин привнес в «Аквариум» то, чего там никогда не было — мощный роковый звук и четкую технику игры. Однако его отношения с группой складывались сложно и «травматически»: с одной стороны, Боб нуждался в нем, как в «солидной» опоре и средстве завоевания широкой рок-аудитории, с другой — ревновал, когда Ляпин на концертах своими пронзительными соло и героическими трюками (он играл на гитаре зубами, держа ее за спиной, вызывал оглушительный feedback и т. п.) отодвигал лидера в тень и пожинал часть его лавров... Потом Ляпин был «только музыкантом» и среди хитроумных мистиков «Аквариума» выглядел простачком, несколько выпадая из «отстраненного» имиджа. Он иногда обижался на высокомерное отношение к себе, но был весел, отходчив и продолжал играть, став, фактически, вторым по популярности членом «Аквариума» — несмотря на реальный статус «приглашенного» музыканта. Что до ударника Петра, то он был намного моложе всех остальных, играл надежно и вел себя скромно. По вечерам, если не было концертов, играл в ресторане.

С приходом этих двух ребят «Аквариум» от акустического реггей и фолк-баллад резко свернул в сторону рок-мэйнстрима в диапазоне от «Rolling Stones» до «Pink Floyd» с эпизодами в стилях ска и фанк. Кульминацией новой электрической программы стали две песни, написанные под несомненным влиянием «The Doors» — «Рок-н-ролл мертв (а я еще нет)» и «Мы никогда не станем старше». В последней из них есть строки:

«Я не знал, что все так просто,  
Я даже стал другого роста,  
Но в этих реках такая вода,  
Что я пью, не дождавшись тоста

Мы пили эту чистую воду,  
Мы пили эту чистую воду,  
И мы — никогда не станем старше!»

Для многих других это мог бы быть очередной красивый, но пустой лозунг. Для «Аквариума» это правда. Благородный инфантилизм — их знак. Из-за него они страдали и благодаря ему одерживали победы; могли выглядеть наивными, мягкотелыми и «недостаточными» — и в то же время не шли на компромиссы и не продавали себя. «Чистая вода» рок-идеализма группы «Аквариум» очень основательно. Иногда это наскучивало, даже раздражало. Хотелось действий, а не проповедей, битого стекла, а не хрустала... Но стоило очутиться с ними за одним столом, увидеть сквозь дым сигарет эти прозрачно-детские взгляды, как злость пропадала. В конце концов, кто из тех, кому сейчас за тридцать, не пил «эту чистую воду»?

Надо сказать, что и Майкл играл одно время роль «сайдмена» в «Аквариуме», помогая им своими корявыми гитарными соло. После московского триумфа жизнь его не могла оставаться прежней, и в начале 1981-го года было объявлено о создании группы «Зоопарк». Способ создания этого коллектива вполне соответствовал индивидуальности Майка, который, отнюдь не будучи «эзотериком», является, в то же время, одним из самых созерцательных, ленивых и непрактичных людей своего круга. И здесь он поступил простейшим образом: не стал подбирать музыкантов, чтобы сотворить нечто стоящее, а с легким сердцем ангажировал ужасную

«дворовую команду» под названием «Черный сентябрь», переименовал ее и стал во главе. Мастерства группы не очень хватало даже для его «гаражного» ритм-энд-блюза, но неотразимая ирония текстов и пикантность тем это как-то компенсировали. Членство в рок-клубе мало повлияло на дерзкую музу Майка; одним из шлягеров сезона стала, например, такая песня:

«Мы познакомились с тобой  
В «Сайгоне» год назад.  
Твои глаза сказали «да!»,  
Поймав мой жадный взгляд.  
Покончив с кофе, сели мы  
На твой велосипед,  
И, обгоняя «Жигули», поехали на флэт  
на красный свет.  
Я был невинен как младенец,  
Скромен как монах —  
Пока в ту ночь я не увидел  
Страх-трах-трах в твоих глазах.»

Но настоящим гвоздём программы стало эпическое двадцатиминутное произведение из пятнадцати куплетов и с более, чем пятьюдесятью персонажами под названием «Уездный город N.» Город населен историческими знаменитостями и литературными героями: диск-жокей Галилей запускает пластинку с возгласом «А все-таки она вертится!»; Ромео, проводив Джульетту из кино, спешит в публичный дом; Оскар Уэльс служит шефом полиции нравов, а Маяковский торгует на рынке морковью... Раскольников точит на улице топоры и ножицы; Бетховен — бывший король рок-н-ролла — играет в баре на разбитом пианино, а Анна Каренина томится на железнодорожном вокзале города, на который никогда не приходят

поезда... Трогательная попытка одним махом разбить множество икон (кстати, в песне присутствует и «торговая фирма «Иисус Христос и отец»), местами очень забавная, местами банальная. Тем не менее, одно уже упоминание знакомых, тем более одиозных, имен всегда вызывало у публики бурные ответные чувства.

Первый большой концерт «Зоопарка», как можно догадаться, прошел в Москве. Удалось договориться с администрацией и техниками «Машины времени» и одолжить их аппаратуру. От лидера группы это держалось в секрете, но он каким-то образом все же очутился в этом зале... Можно вообразить себе радость Макаревича, неожиданно обнаружившего, что Майк поет в его микрофон.<sup>3</sup>

«Новая волна» накатывала медленно, но верно. В 1982-ом появилось еще две интересные группы — «Кино» и «Странные игры». «Кино» — дуэт, в котором играли уже известные нам Виктор Цой (вокал, ритм-гитара) и Рыба (соло-гитара). Цой был автором всех песен, доминирующим настроением которых было одиночество и неумная жажда общения и любви:

<sup>3</sup> Антагонизм этих двух знаменитых рок-авторов нашел отражение и в «Уездном городе N», где есть строчки:  
«... Это наш молодежный герой  
Устроил битву с дураками,  
Но дерется он с самим собой...»

Это, разумеется, намек на знаменитую песню «Машины» — и ее сочинителя. К чести Макаревича надо сказать, что он не ответил на этот злой выпад.







«Дождь идет с утра —  
Будет, был и есть.  
И карман мой пуст,  
На часах — шесть.  
Папирос нет и огня нет  
И в окне знакомом  
Не горит свет.  
Время есть, а денег нет,  
И в гости некуда пойти...»

Так же, как Майк, Цой пел о ежедневной городской жизни — но под совсем иным углом зрения. У Майка нет иллюзий, зато есть здоровый цинизм; это видение взрослого человека — у него есть проблемы, но он знает им цену и даже не прочь с ними поиграть. Цой еще вчера был тинэйджером, а в душе им и остался. Его мир искренен, полон смятения и довольно незащищен. Хочется быть зрелым и саркастичным, но реальность продолжает удивлять...

«Весна — я уже не грею пиво  
Весна — скоро вырастет трава  
Весна — вы посмотрите, как красиво  
Весна — где моя голова?»  
и в то же время:  
«Я не умею петь о любви  
Я не умею петь о цветах.  
А если я пою, значит, я вру,  
Я не верю сам, что все это так!  
За стенкой телевизор орет,  
Как быстро пролетел этот год,  
Я в прошлом точно также сидел,  
один, один, один —  
В поисках сюжета для новой песни...»

Борис Гребенщиков стал главным поклонником и покровителем Цоя: он говорил, что ни у кого в песнях нет столько

чистоты и нежности. Так оно, похоже, и было. К тому же, отличные мелодии.

«Странные игры» сразу наделали много шума и приобрели массу поклонников — это была очень эффектная и первая в своем роде группа. Все остальные исполнители «нового рока», от «Аквариума» до «Удовлетворителей», делали ставку на тексты песен и мало заботились обо всем остальном. «Игры» первыми всерьез взялись за аранжировку и постановку шоу. Они играли настоящий ска и, прямо скажем, многое позаимствовали у «Madness» — и музыкально, и визуально. (Даже выходили на сцену «гусеницей» — как «Madness» на обложке первого альбома). Но вряд ли кто назвал бы их эпигонами — в музыке «Странных игр» присутствовал осязаемый этнический мелодизм, а сценическое действие было по-русски смешным. На «бис» обычно исполняется такой номер: Гриша Соллогуб облачался в униформу деревенского деда, шапку-ушанку и валенки, брал в руки гармонь и, задушевно закатив глаза, принимался наигрывать «Smoke on the Water» — затем присоединялись все остальные, и гимн «хард-рока» превращался в народную плясовую. Адаптированное западными поп-сопиками «Лебединое озеро» было отомщено.

В «Странных играх» собрались вместе очень разные и яркие типы. Лидер, Александр Давыдов<sup>1</sup>, был загадочно-меланхоличен, два брата-гитариста Соллогубы, Гриша и Витя — по-панковски агрессивны, клавишник Коля Гусев — язвительно ин-

теллигентен, саксофонист Алексей Рахов воскрешал в памяти очаровательных стиляг, а Александр Кондрашкин быстро завоевал репутацию лучшего в Ленинграде рок-ударника. К сожалению, обилие индивидуальностей не помогало в написании текстов, и «Игры» использовали стихи западных поэтов-модернистов — конечно, в русском переводе. Еще одной проблемой был вокал: в группе пели почти все, по-разному, и одинаково средне. Строго говоря, в «Странных играх» просто-напросто не было лидера, точнее, их было слишком много — и это предопределило недолговечность ансамбля (Окончательный развал произошел в 1985-ом.)

На сцене, однако, они были превосходны — комичны, анархичны и напористы. Они отталкивали друг друга от микрофонов, менялись инструментами, провоцировали публику — но весь этот балаган был отлично организован. Первые концерты «Странных игр» в Москве слегка напугали невежественную аудиторию: черные очки, галстуки, грубые манеры и один номер («Песня дадаиста») в ритме марша натолкнули некоторых на самые нехорошие подозрения... Именно тогда в Москве произошли возмущившие всех выступления молодых фашистов<sup>2</sup>, и невинный ленинградский ска едва не объявили их приспешниками. На всякий случай «Игры» перестали исполнять марши...

<sup>1</sup> Давыдов умер в июне 1984-го, уже уйдя из «Странных игр».

<sup>2</sup> Очень немногочисленная, но наглая и самоуверенная группировка «золотой молодежи», устроившая демонстрацию на улице Горького в день рождения Гитлера. О «фашистах» знали, в основном, то, что они носят узкие черные галстуки, костюмы и выбривают виски.



Первые два года истории рок-клуба были отмечены борьбой всяческих фракций и поисками форм существования. Консолидация наступила весной 1983 года при подготовке к I городскому рок-фестивалю. Из пятидесяти с лишним групп было отфильтровано четырнадцать лучших, которые и выступили в течение трех солнечных майских дней на сцене рок-клуба. Это был не только праздник, но и акт самоутверждения. На фестивале явились искусствоведы и журналисты, «официальные» композиторы и поэты, культуртрегеры и фаны из разных городов. Из пользующейся сомнительной репутацией рокрезервации клуб в мгновение ока превратился в культурный институт. К счастью, не до конца солидный: дух «Сайгона» продолжал витать над веселой толпой, а чиновники сновали с озабоченным видом, трепетно ожидая очередного скандала.

По нашей неизживной традиции, проводился конкурс. Из хороших групп не удалось наградить только ужасно сыгравший «Зоопарк». А лауреатами стали: «Странные игры», «Тамбурин» (грациозно-мелодичный фолк-рок под управлением импозантного барда Владимира Леви, в прошлом участника «Фламинго» и «Последнего шанса»), «Пикник» и «Россияне» (все — III место); «Мифы» и «Аквариум» (II место) и «Мануфактура» (I место).

«Мануфактуру» до фестиваля никто, кроме совета рок-клуба, не слышал, так что это был более, чем красивый дебют. Группа, ведмая клавишником Олегом Скибой, исполняла мечтательно-романтические песни, пронизанные типично ленинградским настроением — смесью меланхолии и невроза. Фактически это была единая театрализованная программа под названием «Зал ожидания». Она открывалась картиной вокзальной суеты, солист Виктор Салтыков начал петь, лежа на скамейке, закутавшись в пальто. Затем, по ходу дела, он метался по Невскому проспекту, тосковал в освещенном торшером салоне, а в конце представления забрался по лестнице под самый потолок зала с песней про дом, построенный им на облаках... Со своим модным «ново-романтическим» стилем, милыми и вполне «безопасными» текстами и нежным возрастом «Мануфактура» угодила всем и была признана «большой надеждой». К сожалению, первое «ударное» выступление оказалось и последним. После фестиваля они дали несколько бледных концертов (похоже, что первое место подкосило группу психологически), а летом Скиба и гитарист Дима Матковский были призваны в армию. В дальнейшем они несколько раз реконструировали «Мануфактуру», как фокусники, пытающиеся повторить однажды удачно получившийся трюк — но без успеха. Эта группа остается редким примером «калифов на час» советского рока.

Вместе с «Аквариумом», «Россиянами» и другими «Мануфактура» сыграла в июле на «свободном» фестивале в Выборге, городе к северу от Ленинграда, недалеко от финской границы. Это было не самое важное, но, кажется, самое неожиданное и веселое событие той поры. Пейзаж просто незабываем: пригородный парк «Монрепо» на берегу морского залива; деревья, валуны и шум прибоя; деревянная сцена в десятке метров от теплых волн. Летняя толпа оккупировала большую лужайку перед подиумом и окрестные холмы; желающие могли слушать музыку, не выходя из моря. Светило солнце. Несколько милиционеров с расслабленным изумлением наблюдали все это и внимали песням.



ВИКТОР ЦОЙ («КИНО»)

«Я спешу домой в такси. Моя жена привела любовника. Мне позвонила на работу соседка — Она все видела с балкона. Он пришел к ней в бежевой шляпе, Принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе, Когда я ездил в аэропорт... Ревность! Ревность!»

Это пела новая московская группа «Центр» (о них позже), единственные трезвые участники концерта. Ленинградские рок-звезды бесчинствовали, пререкались с публикой и играли неважно... Бывало у нас на фестивалях и публики побольше (в Выборге было тысяч пять человек), и звук получше, но такой вольной атмосферы и прекрасной неорганизованности нигде не было. Единственная аналогия, приходящая на память, — это фестивали в Вильянди, в Эстонии, в середине 70-х...

Вильяндиский фестиваль, равно как и толпы одетых в брезент хиппи, канул в прошлое. Однако Эстония, наряду с Ленинградом, оставалась центром интенсивной — хотя и довольно изолированной, по-прежнему, — рок-жизни. Это был единственный регион, где рок всегда находил

полную официальную поддержку — и не только в плане его коммерческой эксплуатации. Средства массовой информации, включая ТВ, детально информировало полуторамиллионное население республики о делах жанра. Местный филиал «Мелодии», несмотря на бюрократические проволочки, связанные с московским начальством, наладил постоянный выпуск ЕР и альбомов рок-групп: в начале 80-х вышли пластинки Свена Грюнберга,<sup>6</sup> ансамблей «Magnetic Band», «Ruja», «Kaseke», «Musik-Seif» и других. Таллинская киностудия сняла музыкальную мелодраму «Шлягер этого лета», где, в той или иной форме, участвовали почти все эстонские топ-группы. Республиканский союз композиторов тоже воспринимал рокеров вполне лояльно и даже понемногу с ними сотрудничал, предлагая им собственные «прогрессивные» сочинения и участвуя в организации концертов.

<sup>6</sup> Этот электронно-медитативный диск, «Дыхание», был высоко оценен журналом «Eurock». Удивительно, как музыканту удалось достичь такого эффекта, используя простейшую технологию, — заметил в заключение рецензент.



Это трогательное внимание и «тепличная» атмосфера обернулась довольно странным результатом. Эстонская рок-музыка разбилась на два больших клана: с одной стороны, чисто развлекательные поп-рок-группы, с другой — экспериментальные ансамбли, игравшие джаз-рок, симфо-рок и авангард — то, что сами эстонцы окрестили «престижным роком». Лишь одна черта у обоих кланов была общей — безупречное, отточенное исполнительское мастерство. Кстати, многие «престижные» музыканты, когда не хватало денег, подписывали контракт с какой-нибудь из «коммерческих» групп и ездили с ними на гастроли. Не будет преувеличением сказать, что маленькая Эстония дала нашему року не меньше классных инструменталистов, чем Москва и Ленинград, вместе взятые. . . Минусом всей ситуации (по крайней мере, с точки зрения москвича) было то, что между этими двумя полюсами образовался некий вакуум того, что составляло главную силу российского рока (особенно «новой волны»), то есть групп «сердитых» и социально-озабоченных в Эстонии как-то не наблюдалось. . . Хотя и из этого правила были блестящие исключения.

Ход рок-процесса в Эстонии легко проследить по тартуским фестивалям, которые начались в 1979 году и стали ежегодной «выставкой достижений» жанра. Тарту — это что-то вроде эстонского Оксфорда: маленький городок с большим престижным университетом. Узкие улицы, мощенные брусчаткой, старинные домики, парки, холмы, тихая интеллектуальная жизнь, хорошее пиво — фантастически уютное место, хотя и не очень вяжется с рок-н-роллом. Посередине городка протекает речка; в начале мая, когда навигация еще не открыта, пассажирские теплоходы стоят на приколе — и именно в них обычно живут музыканты, их друзья и подруги, приехавшие на фестиваль. (Зная, что происходит на этих кораблях по ночам, можно только радоваться, что никто до сих не свалился за борт). Концерты проходят в самом большом здании Тарту. — знаменитом театре «Ванемуйне». Организация — на хорошем уровне. Бедные русские, попав в Тарту, ходят с широко раскрытыми глазами и тихо завидуют тому, что происходит: рабочие сцены и техники ходят с радиопередатчиками, милиции не видно, продаются плакаты и значки с эмблемой фестиваля, работает пресс-клуб и ночной бар. В последние годы все концерты снимались на видео, и записи демонстрировались ночью в дискотеке вперемежку с новыми западными клипами. . . «Красиво жить не запретишь», как говорят у нас в таких случаях. Однако интересно то, что все чудеса делали выпускники, студенты и преподаватели университета — энтузиасты, иными словами. Если бы организацией занимались формальные люди, чиновники — как это обычно бывает, — картина была бы не столь впечатляющей.

Итак, главные события рок-фестиваля в Тарту, год за годом.

1980. «In Spe» (сокращение «In Speranza» — «в тональности надежды») сыграли «Симфонию для шести исполнителей» Эрkki-Свен Тюура. Пять молодых ребят и девушка, некоторые из них — студенты консерватории, делили свои привязанности между роком и старинной музыкой. «Симфония» была прелестным образцом «средневекового» рока и напоминала ранние сочинения Майка Олдфилда. Серьезность и одухотворенность музыкантов бы-

ли просто восхитительны. Отец Эрkki-Свена живет на маленьком острове, он баптистский пастор. Сами «In Spe» тоже начинали, играя в храме, — что, впрочем, совсем не помешало им стать признанной рок-группой и выпустить два альбома. В 1981-м я пригласил их в Москву, где они тоже имели успех.

Абсолютно сногшибательно выступил «Пропеллер». Это был настоящий беспредельный панк-рок. Группа играла быстро, жестко и компетентно, но в фокусе находилось шоу одного человека — Петера Волконского. О, это уникальная личность! Великий гротескный актер, неотразимый певец-дилетант и уморительный танцор — среди прочих достоинств. Если у Сирано де Бержерака был только невероятный нос, то у Петера особой нелепостью отмечено все — руки, ноги, осанка, походка, голос. Даже на переполненных прохожими улицах центра Таллина его невозможно не заметить издали — такая странная фигура. Он закончил философский факультет Тартуского университета, был режиссером маленького экспериментального театра «Студия старого города», снимался в кино — но главным образом, занимался тем, что своей необузданной фантазией и темпераментом, взрывной смесью гения и городского сумасшедшего всячески будоражил спокойную жизнь артистической Эстонии. «Пропеллер» был лишь одним из многих его проектов — самым громким, но далеко не самым долговечным. Через несколько месяцев после «Тарту-80» группа играла на одном из таллинских стадионов, и после концерта имели место некие «молодежные беспорядки». «Пропеллер» попросили больше не выступать. . . (Хотя странно, что в аналогичных ситуациях не запрещают футбольные команды). К тому же, одна из типично дадаистических песенок Волконского называлась «Die Woche» и в ней просто-напросто перечислялись по-немецки все дни недели, но характер подозрений и претензий можно легко угадать.

1981. «Пропеллер» минус Волконский переименовался в «Kaseke» и получил «Гран-при» фестиваля за программу инструментальной музыки. Петер появился на заключительном концерте в маске Рейгана, чем усугубил свою ужасную репутацию. «In Spe» исполнили настоящую мессу «Lumen et capsum», написанную в традиции григорианского хора. «Ruja», кумиры 70-х, отметила возвращение в свои ряды пианиста и композитора Рейна Раннапа серией мощных и лаконичных (чего раньше не было) песен, построенных на типичных панк-роковых риффах. «Вчера я видел Эстонию» была особенно хороша.

Самый популярный ансамбль Эстонии — «Рок-отель». Фактически, это супергруппа ветеранов: седой бас-гитарист Хейго Мирка, игравший еще в «Оптимистах», Маргус Каппель, стильный клавишник из «Ruja», певец Иво Линна, разочаровавшийся в бесконечных халтурных гастролях знаменитого «Апельсина». . . В репертуаре «Рок-отеля» были почти исключительно классические рок-н-роллы 50-х годов. Они вежливо отказались от участия в официальной программе фестиваля — «мы не исполняем оригинальный материал» — и играли ночами на танцах.

1982. «Гран при» получил «Радар» — эстонская сборная команда по джаз-року, возглавляемая Паапом Кыларом, бывшим ударником «Psycho». Они звучали «живьем» точно так же, как Билли Кобхэм и Джордж Дюк на пластинках. «Надеждой

на будущее» объявили молодую фанки-группу «Mahavok».

Среди изобилия кантри-рока, поп и «fusion», единственным настоящим открытием (для меня, по крайней мере) стал ансамбль «Kontor». Одетые в глухие «контторские» костюмы — некоторые даже в нарукавниках! — они показали программу в духе декадентского кабаре, стилистически варьирующуюся от слезливого ретро-свинга до эстонской версии «Psycho Killer». Тон задавал тощий гибкий парень в черном котелке и с тростью — профессиональный актер мим и фокусник Хейно Сельямаа. Шоу было выдержано в духе мрачноватого китча и, по мнению эстонцев, содержало элемент довольно острой сатиры.

Вообще говоря, об эстонском роке мне писать в каком-то смысле даже труднее, чем об английском или американском, поскольку смысл песен всегда ускользает. Одной-двух ключевых фраз, которые переводили друзья, конечно, недостаточно. И тот факт, что тамошние группы ориентированы на текст в меньшей степени, чем русские, служит слабым утешением — особенно в те моменты, когда весь зал смеется или аплодирует какой-то фразе, а ты сидишь и чувствуешь себя чужеродно и глупо. Это остро ощущалось на следующем фестивале.

1983. Впервые в Тарту была допущена группа Харди Волмера — самое веселое и проблематичное порождение эстонской рок-сцены первой половины 80-х годов. Основу ансамбля составляли изобретательные молодые интеллектуалы из таллинской художественной академии и, в результате постоянных тренировок с властями, он неоднократно менял названия. Сначала — «Pära trüsti» («Фиктивный трест»), затем — «Turisti». В Тарту группа предстала под названием «Toku Kool» («Незнайка на Луне»). Харди Волмер, певец и «spiritus ego» группы, выбежал на сцену с сачком для ловли бабочек и жестяным барабаном на груди. Подобно знаменитому герою Гюнтера Грасса, он страстно бил в этот барабаник и, как бы с позиций чистой детской наивности, пел об абсурдном и лживом «взрослом» мире: о карьеризме, погоне за вещами, светских сплетнях, культе денег. Группа играла энергичный неприглаженный рок — немного похожий на «The Clash» позднего периода. Сами они называли свой стиль «neuro-rock», и это соответствовало. Замечательная группа! — у них было все то, чего не хватало большинству эстонских ансамблей с их сонным блеском и академичностью.

Группа Хейно Сельямаа не смогла собраться на фестиваль в полном составе, поэтому публике было представлено вокальное трио «Kontor-3». Они вышли на сцену в официальных костюмах, с портфелями в руках и запели, прекрасно имитируя всем знакомую казенно-помпезную манеру, массовые песни конца 40-х, вроде «Марша женских бригад» или «Славы шахтерам-ударникам». . . Это был беспощадный гротеск. Постоянный председатель жюри тартуских фестивалей, эстрадный композитор — ветеран Вальтер Оякяр, сокрушенно убеждал меня: «Конечно, сейчас это выглядит нелепо, но зачем ворошить прошлое? Певцы, которые пели тогда эти песни, уже старые люди — как





ПИТ АНДЕРСОН И «MELODY MAKERS»

можно над ними издеваться?» Нет, «бюрократический поп» отнюдь не принадлежал прошлому — он существовал и процветал по сей день, пусть и в «модернизированной» форме<sup>7</sup>. «Kontor-3» только своевременно напомнил о его уродливых, но реальных корнях.

Петер Волконский вернулся. Из репертуара своего театра, который когда-то ставил «Физиков» Дюрренматта, он взял костюмы, маски и парики, нарядил в них музыкантов («In Spe», назвал их Архимедом, Паскалем, Оппенгеймером, Курчатовым и т. д., себя — Эйнштейном, а всю группу — «E=MC<sup>2</sup>»). Он сочинил антиядерную сюиту под названием «Пять танцев последней весны» (будто предчувствовал, что произойдет спустя три года) — и это было нечто потрясающее<sup>8</sup>. Музыка была гиперэмоциональным коллажем рока, шума, классики, авангарда; Волконский своим вулканическим присутствием заставлял музыкантов играть с невозможной интенсивностью. Сам он не только пел, но и популярно рассказывал в полной тишине о принципах и типах ядерной реакции и истории создания атомной и водородной бомбы. В финале, при полной темноте на сцене и в зале, долго продолжался мантрический хорал-долгание: «Слушайте, как свет падает вниз».

На ночном джем-сейшене после фестиваля Хейно Сельямаа и Петер Волконский устроили дикий танец танго; Петер вошел в такой кураж, что в одном из пируэтов сломал себе ногу — прямо на глазах у умирающей от смеха публики. Да, а «Приз Надежды» опять получил «Mahavok» — что свидетельствовало не только о нежелании поп-истеблиш-

мета принимать новую музыку, но и об общем застое. В этом я смог убедиться на фестивале следующего года, где, кроме «Turist», слушать было вообще нечего.

Более драматично, чем в комфортабельной Эстонии, складывалась ситуация в соседней Латвии. В роли неожиданных меценатов рока там оказались богатые колхозы, предложившие наиболее известным группам своеобразную форму взаимовыгодной кооперации. Колхозы покупали музыкантам дорогую аппаратуру, предоставляли место для репетиций; группы, в свою очередь, гастролировали от имени своих колхозов, прославляя эти переловые хозяйства и принося им денежную прибыль. По сути дела, эти ансамбли работали полупрофессионально и составляли ощутимую конкуренцию исполнителям из государственных концертных организаций. Такая форма сотрудничества оказалась настолько выгодной, что в «колхозную филармонию» перешли некоторые знаменитые профессиональные артисты: больше денег и меньше давления... В эту систему попали и известные нам «Sirpoli». Репертуар группы Мартина Брауна теперь складывался из двух половин: простых поп-песенок для подростков из маленьких городков и деревень и больших театрализованных сюит (в том числе «Маугли» по Р. Кипплингу) для поддержания собственной творческой формы и «серьезной репутации».

С другой стороны, после долгой депрессии оживился местный «Underground», но положение этих групп было очень жалким. Для колхозов они не представляли коммерческого интереса, и всем остальным до них тоже не было никакого дела. Поскольку группы не могли играть буквально нигде, они решились на отчаянный шаг: летом 1983-го устроили абсолютно спонтанный, без намека на какое-либо легальное «прикрытие» фестиваль в деревне Иецавы, километрах в ста от Риги.

Это событие неожиданно имело огромный резонанс в республике — тем более, что кто-то из публики не то утонул, не то — по зловещим слухам — был убит... Только таким образом непризнанные му-

зыканты смогли обратить на себя внимание. Официальные инстанции увидели перед собой проблему и постановили ее решить. Так при рижском горкоме комсомола возник второй в стране рок-клуб.

Компания там подобралась исключительно странная и разношерстная: Пит Андерсон с группой ностальгического рока-билли «Допинг» (по просьбе кураторов была переименована в «Архив»), трио индустов с ситарями и таблой, сатирический хард-рок «Поезд ушел» (песни про низкую зарплату инженеров, плохие местные инструменты и т. п.), фри-джаз «Атональный синдром», психоделический фолк «Tilts», шумовой авангард «Зга» и так далее. Объединяло их лишь одно — неконформизм и неприкаянность. Общие проблемы сдружили в рок-клубе латышей и русских — что, к сожалению, довольно редко случается в артистических кругах Прибалтики<sup>9</sup>.

Бесспорно лучшим ансамблем были «Желтые почтальоны». В прошлом они назывались «Юные малиновые короли» и, как видно из названия, находились под сильным влиянием «King Crimson». Однако с приходом новой волны их стиль радикально трансформировался: четыре крайне флегматичных молодых человека самой прозаической наружности играли на игрушечных электронных инструментах. Музыка была минималистическо-монотонной и очаровательно мелодичной одновременно. Она была похожа на Ригу — большой серый город, по-немецки прямой, но с какой-то грустной, тусклой изысканностью... «Желтые почтальоны» пели о закрытых кафе, чемаданах, красивых водах и о том, что лето уходит. Построенные на компьютерных ритмах, их песни имели большой успех в студенческих дискотеках, но недолго. Кто-то счел записи «сомнительными», и «почтальоны» оказались перед закрытой дверью.

Некоторые надежды внушала и группа «Dzelšcēļš» («The Rail Road») — ребята семнадцати лет, очень шумные, агрессивные, в цепях и собачьих ошейниках. Певец, натуральный нордический блондин, долго кричал на зал, требуя освободить проход посередине, ибо там должна пройти железная дорога. Они были очень милы, но никак не могли сочинить больше пяти песен<sup>10</sup> — так что идея панка в Латвии не получила развития. Ударник «Dzelšcēļš» стал впоследствии одним из интереснейших самостоятельных кинорежиссеров. Сейчас он снимает документальный фильм о нелегкой судьбе трех поколений латышского рока на примере изломанных карьер Пита Андерсона, Мартина Брауна и «Почтальонов».

К чести латышей надо сказать, что некоторым группам — «Sirpoli», «Почтальоны», даже более ортодоксальным «Līvi» и «Pērkonš», удалось найти оригинальные национальные интонации — то, что русским рокерам до сих пор не очень удавалось. Или это просто язык звучал странно?

<sup>7</sup> Достаточно было посмотреть любую эстрадную передачу по центральному телевидению, чтобы убедиться в этом.

<sup>8</sup> Сразу после концерта я прибежал в передвижную студию эстонского радио: «Есть пленка MC<sup>2</sup>?» — «О, нам сказали, что передавать все равно не будут, поэтому мы как следуют не записывали...» Потом сюита исполнялась еще один или два раза, и тоже без записи. Это трагично: одно из самых впечатляющих произведений советского рока, похоже, исчезло без следа.

<sup>9</sup> К примеру, во всей латышской «колхозной филармонии» и среди всех участников таргусского фестиваля не было ни одной русскоязычной группы. Интересно, что у рижского Рок-клуба не было вообще никакого помещения, даже маленькой комнаты. Общие собрания музыкантов проходили во дворе у входа в кафе «Аллегр». Летом это было О.К., но зимой или в дождь... Даже имея свои клубы, рок оставался «музыкой воюне».

<sup>10</sup> В главном хите, как мне рассказали, пелось о мертвых младенцах, плывущих по озеру.



# ДАЦЕ ТЕРЗЕНА В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ НУЖДАЕТСЯ ВСЁ

Сейчас, во время перестройки, каждая общественная структура и институт стараются доказать свою целесообразность — подлинную или мнимую, по крайней мере. Иные стремительно каются в былых грехах и, не моргнув глазом, устремляются в светлое будущее. Иные потихоньку исчезают. Иные становятся агрессивными. Как быть комсомолу? Наш разговор с первым секретарем Лимбажского райкома комсомола ЮРИСОМ ОЗОЛИНЬШЕМ и первым секретарем Огрского райкома комсомола АРТУРОМ ГРАУДИНЬШЕМ начался с того, что положение комсомола в настоящее время — самое незавидное — ни основательных грехов, чтобы каяться и очищаться, ни принципиально новой платформы для дальнейшего пути. Как будто табуретку из-под ног вышибли...

**Ю. ОЗОЛИНЬШ:**

— Это правда. По-моему, «табуретка» пропала в году этак в восемьдесят шестом — тогда комсомол начал действовать, состоялись республиканские и всесоюзные съезды. Казалось — ну теперь-то возьмемся за дело! Но до сих пор никак не найдем опоры. И трудно будет ее найти, если в комсомоле будет продолжаться гипертрофированная «многоотраслевая» деятельность. Силы так распылятся, что в конце концов трудно сказать, что же, собственно, мы сделали, хотя вроде и тут, и там руку приложили. И разве мы вылезли от старой хвори — требовать с комсомола ответа за все сложности, которые возникают в нашем обществе?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Главное несчастье — во всем обществе обесценились человеческие и трудовые идеалы. Разумеется, и в комсомоле тоже. Общий и целенаправленный труд невозможен без объединяющих людей идеалов. Но наступило время кристаллизации идеалов. Янис Петерс, Дайнис Иванс — вот их носители.

— А непосредственно в комсомоле?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Ну, так можно бы назвать хоть бывшего первого секретаря Бауского райкома Дайниса Буманиса...

Вообще трудно понять, кто больше старается выбить из-под ног табуретку — сами комсомольские работники или те, кто, не слишком разбираясь в комсомольских проблемах, рассуждают о них с видом всезнаек. Например, в третьем номере

«Родника» за этот год была опубликована статья Илана Полоцка о комсомоле «Почему не растут волосы на пятке...» Статья вообще неплохая. Только там слишком многое абсолютизируется. Например, что для большей части комсомольских функционеров комсомол — это только ступенька для дальнейшей карьеры. По-моему, это представление ошибочное. Я не отношусь к своему креслу с болезненной подозрительностью, я только хочу, чтобы человек, который займет мой пост после меня, работал смелее и лучше, чем я. Пока такого человека не будет, я от своего места не откажусь.

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— Разве то, что комсомольский работник всегда при галстукке и пользуется служебной машиной, сразу делает его карьеристом? Ну, есть у меня эта «Волга», которую за десять лет заездили вконец. И что в этом такого?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— У многих мышление — до сих пор на уровне пятидесятих годов. А как мне обойтись без машины, если за день нужно побывать по меньшей мере в пяти местах? И, раз уж все общество компьютеризуется, разве комсомол обязан по старинке пользоваться бухгалтерскими счетами?

Между прочим, мы заключили прямые договоры о сотрудничестве со Щецинским воеводством. Может, поляки помогут раздобыть два компьютера. Тогда сектор учета в райкоме можно будет ликвидировать. Хватит и одного оператора.

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— А совесть? Я никогда не допускал мысли, что работаю только для того, чтобы забраться повыше. Можно сказать, на комсомольской работе я очутился случайно. Я ведь по своей сути труженик сельского хозяйства, и совсем не собираюсь использовать комсомол как трамплин. На своей работе я и сам получаю образование и, надеюсь, другим тоже что-то даю.

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Действительно, хочется проверить себя — кто ты такой и на что годишься. Между прочим, мне предлагали другую работу — председателем исполкома в небольшом городке, руководителем отдела ЦК комсомола республики. Я отказался. Знаю, что пока еще не потяну.

С другой стороны, в нас, в том числе и в талантливых, и трудоспособных воспи-

тана излишняя скромность — чего я стану навязываться! Еще подумают, что карьерист! И человек «не высовывается». «Высовываются» другие. Бесстыжие, кому какое море по колено. И выдвигаются. А мы потом удивляемся — что за люди оказались в креслах и что за кавардак вокруг происходит!

Мой принцип таков: работать так, чтобы самому было интересно и чтобы не было стыдно собственным детям в глаза смотреть.

— Хочу возразить на одну из ранее высказанных мыслей — вы говорили, что главное — не форма, а содержание комсомольской работы. С этим можно бы и согласиться, но слишком часто все ограничивалось именно формой — пустой, громкой, навязчивой и главенствующей...

Комсомол у нас в республике, как и повсюду, брался за массовые мероприятия, организацию молодежных праздников, стремился принять участие во всех общественно значимых акциях. Как вы к этому относитесь?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Этим путем следует идти и дальше. В этом году мы устроили в Огре молодежный праздник. Позволили себе кое-что нетрадиционное. Уже само название «Просыпайся, Огре!» вызвало у иных чиновников подозрения в манере подлинного застоя. А когда в связи с праздником мы провозгласили конкурс — кто назовет величайший «кангаризм» в республике, — в райкоме партии нам сделали замечание: как мы можем судить о «кангаризмах» в республике, мы ведь районные жители! А почему бы и нет? Мы же граждане Латвии! И тут встает вопрос о комсомоле как о политической организации — каково на деле осуществление его устава в настоящее время? Что комсомол вправе делать, так, чтобы никто вдруг не дал по рукам?

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— Мы в Лимбажи тоже провели молодежный праздник. Может, не такой громкий, как в Цесисе или Огре, но он помог налаживанию хороших контактов с молодежью. Молодой человек поверит нам только тогда, когда увидит хоть частично реализованными и свои идеи. Если мы не организуем такие праздники, то кто этим займется?





Фото — Валтс Клейнс

#### А. ГРАУДИНЬШ:

— А по-моему, это глупо — бояться, как бы мы чего не опоздали сделать, да как бы кто не сделал этого вместо нас.

14 июня 1988 года в Огре, одном из немногих городов республики, происходил сбор средств на памятник жертвам сталинизма. И это не было инициативой комсомола.

— Вы не жалеете об этом?

#### А. ГРАУДИНЬШ:

— Нет, я радовался, что есть и другие силы, способные активно действовать. Обнаружив, что есть еще в городе руки, срывающие со стен плакаты с призывом ехать на митинг в Ригу и жертвовать деньги на памятник, мы почувствовали такую злость, такое желание сделать наперекор, что собрались вместе — я и несколько бывших первых секретарей райкома, раздобыли урну для голосования, художника, который написал плакат с призывом, взяли в помощники участников народного танце-

вального ансамбля «Огре» и вышли на улицы. Мы собрали тогда на памятник 1400 рублей. И были рады, что те, кто срывал плакаты, своей цели не достигли.

— Значит, вывод таков: одно из необходимых качеств комсомольского работника сегодня — это умение «эластично» действовать в непредвиденной ситуации, умение демонстрировать свою позицию не на словах, а на деле?

#### Я. ОЗОЛИНЬШ:

— Этому мы только учимся, и то по-немногу. Пока тяжело дается.

#### А. ГРАУДИНЬШ:

— Дайнис Бушманис высказался в журнале «Лиесма» так: комсомол стал похож на поезд, который набрал скорость и ему стало трудно маневрировать. Если говорить о скорости — по-моему, нам нужен свой комсомол.

— Как это понимать?

#### А. ГРАУДИНЬШ:

— Как бы объяснить... Ну, вот простой пример. Мы организовали в Огре моло-

дежный центр, 13 июля сего года он был официально утвержден, но вопрос об утверждении мы решали с октября минувшего года. Поскольку, видите ли, организацию молодежного центра в маленьком городке Огре нужно согласовать в Москве в ЦК комсомола страны. Но если уж решили, что комсомол должен работать по принципу хозрасчета, так я и должен быть хозяином на своей территории! И не только на словах!

В формуле «демократический централизм» до сих пор доминирует «централизм». Я понимаю и признаю централизм на республиканском уровне, но к чему мелочная зависимость от всесоюзного комсомола, от его ЦК? Как же нам полноценно руководить молодежью района, если у нас нет настоящей самостоятельности? Вообще, я считаю, в районах должны быть не комитеты комсомола, а комитеты молодежных организаций, или как мы назовем иначе это формирование. В них были бы представлены интересы всех слоев и



групп молодежи. По-моему, неправильно и нелогично, что Комитет молодежных организаций республики действует как бы под крылышком у комсомола. По сути, это означает подчиненность комсомолу.

Если бы в районе был такой орган, представляющий интересы всех групп молодежи, в том числе и верующих, тогда было бы достаточно пяти-шести освобожденных комсомольских работников — в зависимости от того, сколько в районе комсомольцев.

— А как, по-вашему, должен реализоваться принцип: комсомол — авангард молодежи?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— По-моему, в обществе мало у кого понятие «комсомол» ассоциируется с функцией авангарда, хотя теоретически так и должно бы быть. Скорее комсомол воспринимают как часть молодежи, объединенную по неким формальным признакам. К тому же, большую часть. Но от всех и нельзя требовать, чтобы они были лучшими. Чтобы работа комсомола стала эффективнее, нужно избавиться от балласта — уменьшить райкомовские штаты, проводить собрания в первичках только в случае необходимости, обязательными считать только заседания комитета комсомола и отчетно-выборные собрания.

К тому же при таких выборных органах, как у меня в районе на сегодняшний день, никакой особой эффективности в работе не добьешься. Как мы выбираем членов райкома? По формальным признакам, чтобы все классы, слои и группы были представлены. А в результате на пленуме райкома в зале сидят незаинтересованные, сонные люди. Какая тут может идти речь про общность идей и целей?

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— Каждый из них по отдельности — неплохой человек. Спрашиваю у парня — почему не был на пленуме? Ответ обычный — человек в этот день работал. А пленум бывает раз в четыре месяца. И что такой член райкома может рассказать своим товарищам о делах райкома, если он даже на пленуме не был?

— Значит, выборные комсомольские органы не выполняют своих функций?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Что касается моего района, то члены райкома — не выполняют, а бюро райкома — выполняет.

— По-моему, сегодня нельзя объективно говорить о смысле и эффективности комсомольской работы, если умолчать о связи комсомола и партии. Какова она в каждом конкретном случае? Действует ли она как стимул или как тормоз?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Накануне XIX партконференции некий делегат, кажется, секретарь обкома, высказался в печати, что комсомол работает под руководством и контролем партии. Я думаю, это ошибочное мнение. Может идти речь об общеполитическом руководстве партии, а не о мелочной опеке в каждом конкретном случае.

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— Я это руководство ощущаю весьма фрагментарно. Во всяком случае — совместной деятельности нет. Партийные работники не противятся нашим идеям, но и особого интереса к ним мы не ощущаем. Хотелось бы, чтобы они больше обращали внимания на наши успехи. А то о нас вспоминают только, если мы чего-то натворили. Или даже не мы. Например, повысился уровень преступности среди несовершеннолетних. Или мы в чем-то не участвовали. Но мы не всегда считаем себя виновными, и, объективно говоря, так оно и есть.

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Надо признаться, что у нас не налажено удовлетворительного сотрудничества со всеми работниками аппарата райкома партии. Чувствуются подозрительность, недоверие — как бы эти комсомольцы не наломали дров! Но в целом серьезных препятствий для нашей деятельности не возникает.

— Появились ли за время перестройки в общественной жизни существенно новые обстоятельства, с которыми комсомол в своей работе не может не считаться?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Мощный рост национального самосознания. Напряженность в межнациональных отношениях.

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— Нельзя сказать, что эти проблемы в Лимбажском районе стоят особенно остро. 85 процентов жителей района латыши. В июле, правда, состоялся пленум райкома партии по вопросу межнациональных отношений, но, думаю, можно было найти и более важные вопросы для обсуждения. Наверно, опять сработал шаблон — если в других местах с этим не все благополучно, то для верности обсудим-ка мы это дело и у себя в Лимбажи. Это, конечно, моя личная точка зрения. С другой стороны — совсем уж бесполезным этот пленум не был. Заставил кое о чем задуматься. В Лимбажи есть одна русская и одна латышская средняя школа. Никакого сотрудничества между ними нет. Организовать нечто формальное на тему «дружбы народов» несложно. Но как добиться естественного и глубокого понимания?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Меня беспокоит одна вещь, и не только как комсомольского функционера. Ну, подумайте, — когда мы говорим «белорус», «эстонец», «грузин», есть ли в этом что-то обидное? А когда о русском говорим «русский», внутренне как бы одергиваем себя — а как это прозвучит? Пытаемся вывернуться — «русские товарищи», «человек русской национальности». Вроде бы мелочь, но ее причина — глубоко запущенная болезнь. И такие «мелочи» — на каждом шагу.

В марте этого года состоялся пленум райкома комсомола, посвященный межнациональным отношениям. Прошел он остро. Спорили о том, какой быть в будущем школе, которую теперь строят в Огре, русской или латышской. Латышская средняя школа теперь перегружена, там учатся в две смены две с половиной тысячи детей. Не в лучшем положении и русская школа. Возник вариант решения — отремонтировать старую русскую школу и отдать латышам, а в новой школе вести преподавание на русском языке. А почему не наоборот? Большинство участников пленума считает, что школу нужно отдать латышским детям. Так все же будет справедливее.

— От комсомола всегда требовали интернационального воспитания молодежи. Но не всегда удавалось наполнить эту форму конкретным и глубоким содержанием. Как вы понимаете интернациональное воспитание?

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Разговоров о нем много, а я убежден в одном: ко всем, и латышам и нелатышам, нужно относиться с равной принципиальностью. Вот пример для иллюстрации. Секретарь одной из первичек после 14 июня и молодежного праздника в Огре изготовил стенгазеты. В них было черным по белому написано, что 14 июня этот секретарь воспринял только как выставку провокаци-

онных плакатов и якобы фашистских выпадов, и нечто подобное было сказано о молодежном празднике. В райком позвонил один из тамошних комсомольцев — мол, что этот секретарь вытворяет? Мы вызвали секретаря для беседы и предупредили, что рассмотрим его поступок на бюро райкома. Поехали разобратся на месте — а все газеты пропали. Он говорит: «Ты знаешь, я черновики уничтожил». Я отвечаю: «Ты думаешь, это так легко — уничтожить?» Он спрашивает, на каком бюро его будут рассматривать, партии или комсомола. Я говорю — комсомола. Он: «Слава богу!» Вот такое отношение.

С другой стороны — мы сами во многом виноваты. Не относились с должным почтением к своему языку. Проводим собрание актива. Участвуют 130 человек. Четверо или пятеро не понимают по-латышски. И все говорят по-русски. Считаю, что и в ЦК комсомола республики к латышскому языку относятся без должного уважения. Многие комсомольские работники, которые с высокими трибун проповедуют интернационализм и утверждают, что всюду необходимо соблюдать принцип двуязычия, не торопятся осваивать латышский язык.

Честно говоря, я толком не знаю, как нам быть в такой ситуации. Пока тычемся наощупь...

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— Несмотря ни на что, нам, комсомольским работникам, приходится идти на манер миссионеров и в русские и в латышские школы разъяснять эти сложные вопросы.

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Честно говоря, я не знаю, как быть. Сколько «путешественников» пропускает через себя Огре, и их число растет! Уже не вспомнить, когда и как была доказана необходимость строительства трикотажного комбината в маленьком курортном городке. А расхлебывать эту кашу приходится нам.

— Каковы основные выводы за время перестройки?

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— В результате всех съездов и резолюций мы так еще и не получили окончательно права самим принимать решения и самим отвечать.

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— И я не настроен оптимистически. Неохота аплодировать и радоваться — ишь, как нам много позволили! На деле я при всем желании не могу даже уволить секретаршу за плохую работу. Инstrukция на инструкции едет и инструкцией погоняет, а тот, кто не работает, а резину тянет, остается неуязвимым.

**Я. ОЗОЛИНЬШ:**

— Правда, командного стиля руководства мы уже не ощущаем. Ни нас сверху погоняют, ни мы — свои первички. Но во многих местах так привыкли к командам, что теперь, когда приказов нет, там предаются полнейшей лени.

**А. ГРАУДИНЬШ:**

— Образно говоря, комсомольская работа — это как снеговика лепить. Сперва нужно, чтобы было ядро. Думаю, ядро уже собрал. Может, читая это, кто-то подумает: ни черта у тебя не получится. Но молодежный центр — уже реальность. Хотим даже открыть в нем небольшой музей различных молодежных организаций. Например, движение хиппи — когда началось, что за штука, чем кончилось?

По-моему, пора, наконец, понять, что глупо комсомолу быть навязчивым. Целесообразность каждого нашего шага нужно доказать. Ведь оспаривать можно все.



# ПЕТЕРИС УДРИС ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК: РАЗГУЛ АНАРХИИ ИЛИ ПРОЧНЫЙ СТАТУС?

По части латышского языковедения я даже не бакалавр и о лингвистической ситуации в Латвии сужу со своей колокольни — специалиста по иностранной «мове». Позиция небезвыгодная — возможность почувствовать в мир представлений и образов другого языка помогает взглянуть на родной со стороны и хладнокровно обдумать, как же складывается его судьба.

Официальные данные: в республике 80% латышей владеют русским языком и лишь около 25% «иноплемеников» знают латышский. По-моему, это наглядно свидетельствует, во-первых, об отсутствии последовательной языковой политики, а во-вторых, о том, что мы архиплохо понимаем, каковы взаимоотношения между людьми разных национальностей и какую роль играют здесь языки. Туманно и наше представление о том, кто же такие «не-латыши» — люди, которые живут, работают или просто пребывают здесь, в этнографических пределах латышей, а по конституции, на территории суверенного советского социалистического государства — Латвийской ССР. Надо бы условиться и о терминах «национальная республика» и «национальная школа», ибо в обиходе укоренилось мнение, что таких республик в Советском Союзе 14 и только у русских нет ни своего национального государства, ни даже школы национальной нет, поскольку советская школа подразделяется по языку обучения, а не по национальному признаку. Нельзя признать удачным и термин «национальные (в лучшем случае — «межнациональные») отношения», что ведь надлежит понимать, как «отношения между нациями (народами)», однако культура таковых — это уже сфера дипломатии, а мы твердим о подобных отношениях между отдельными людьми или группами; простите, но индивиды могут вступать, скажем, в трудовые, дружеские, сексуальные связи и не могут быть в «национальных отношениях»: «я люблю Райниса, ты любишь Пушкина» — так, что ли? Негоже бросаться понятиями национального, когда речь идет о том, лезет ли человек без очереди, с какой площадью входит в троллейбус и не заплыввает ли столичный тротуар (хотя и полезно бывает иногда выяснить основные правила поведения).

Сложность сегодняшней ситуации еще не вполне уяснили себе (а может быть, не сделали достоянием гласности) и наши идеологические чиновники. Один ответственный товарищ радостно заявил в «Роднике», что латышский знает четвертая часть нелатышей. Извините за школярную шутку, это как же — полтора миллиарда? Мне видится совсем иной результат политической стихии предшествующих лет: знает латышский язык (может, словарный минимум) весьма ограниченный контингент в СССР и других странах пребывания латышей плюс интересующиеся, литераторы и лингвисты в остальном мире. Еще меньше тех, кто может (пусть и слегка) на нем изъясняться.

В одной из стран, существовавших на земном шаре до второй мировой войны, 18 февраля 1932 года латышский язык был законодательно признан государственным; причем, уже мирный договор между Советской Россией и Латвией, подписанный 11 августа 1920 года, был составлен по-латышски.

Сегодня у нас есть Конституция республики, и в ней сказано черным по белому, что Латвийская ССР — это форма выражения суверенитета латышской нации, и сегодня же основной признак нации — язык (через посредство которого осуществляются формирование и бытование культуры и психического склада) не только низведен фактически до положения языка одного из живущих в Латвии народов, но и не функционирует в международных договорах и конвенциях как свидетельство суверенитета Латвийской ССР в мире. Вот почему нам надо уделить самое пристальное внимание правовому и фактическому статусу латышского языка как неперемennого признака нации, ее первоэлемента.

Рассуждения о том, с каких «древних» времен какие такие «народы» жили на территории нынешней Латвии, хорошо всем знакомы, но и цена им известна, по крайней мере большинству. Давайте отбросим пустопорожнюю идеологическую болтовню и шитое белыми нитками политиканство, у которых одна очевидная цель — оправдать использование хозяйственного потенциала и выгод географического положения Латвии, колонизацию ее территории. Нынешняя ситуация (и внутри-, и внешнеполитическая) гораздо сложнее, и заливаться изображать Латвию только как место совместного жительства советских граждан разных наций и народностей нельзя.

Я умышленно акцентирую непорядки политического свойства, дабы подчеркнуть — основную проблему латышского языка не-

возможно последовательно, на современном уровне разрешить из-за политико-правовой неопределенности статуса латышской нации и языка. Нам необходимо практически увязать понятия языка и нации. Мы не имеем права подвергать сомнению единство территории, пренебрегать экономической самостоятельностью, задвигать на задворки нашу культуру и вообще образ мышления. Латышская нация по-прежнему существует, и у нее есть национально-государственная история, как бы ни трактовали последнюю с различных политических позиций. Хотелось бы надеяться также, что мы готовы к конструктивным политическим решениям, не нам бояться суровых слов, когда грянет благое дело.

В отношении языка латышского народа (языка письменности, общелитературного, наддиалектного) особых проблем не возникает. Никто не запрещает и не ограничивает общения людей латышской национальности между собой по-латышски (если такие инциденты имеют место, то о них как рецидивах культурного геноцида следует ставить в известность прокуратуру).

Понятие народа по существу очень близко понятию нации в привычном марксистском понимании этого термина. Неустойчивость толкования в случае латышского народа вносится тем фактом, что за границей проживает около 200 тысяч латышей, чья роль в культурной жизни и вообще в идеологической сфере несомненна. Но и здесь есть возможности для консолидации латышской нации — согласно Конституции каждая республика имеет право определять у себя гражданство как она того пожелает, а в мире возможно ведь и двойное подданство. Между тем рамки понятия нации размываются и существованием в Латвии интонациональных групп, доля которых в населении необычно велика.

Прежде всего, и это однозначно, Латвия не является многонациональным государственным образованием. В прессе «буржуазного периода» 20-х годов подчас фигурировало словосочетание «государство многих наций», но оно подвергалось критике и уж никак не было марксистским; им подчеркивалось тогда лишь то обстоятельство, что в Латвии нельзя не считать с меньшинствами, без малого четверть населения, в значительной степени представлявшей также интересы Германии и России (это подтвердили события 1939—1940 годов). Многонациональным государством Латвия никогда не была, не является сейчас и быть не может. Каков бы ни был здесь процент латышей, нация в Латвии только одна — латышская, и именно ее волеизъявление формально закреплено в Конституции ЛССР. У латышей как бы и нет особой нужды подвергать сомнению ее правомочность и государственный статус Латвии, поскольку это советское установление формально предоставляет латышскому народу больше права, чем основной закон 1922 года, вынужденный считаться со всеми народами Латвии. На мой взгляд, старая конституция выглядит демократичнее, так как не ставит вне закона тех жителей республики, которые не принадлежат к латышской национальности. В свою очередь, по вопросу о государственном языке ныне даже уровень буржуазной демократии образца 1932 года не достигнут, вместо этого — разгул анархии. Да, тяжкое наследие нам досталось.

В первую голову следует, очевидно, определиться в терминах филологического плана и понятиях общественных наук. Надо осознать, что в результате мощной миграции и активной колонизации (импульсивной или злоумышленной) этнический состав латышской нации оказался деформированным (причем в большей степени, чем в царское время), функции языка нации сужены (по сравнению с 1940 годом). Это противоречит интересам по меньшей мере одной из наций СССР, а значит, не может соответствовать интересам всех наций Советского Союза, не говоря уже о живущих в Латвии людях других национальностей.

Попытаемся установить этнический состав населения Латвии на основе исторического единства четырех признаков нации — общей территории, языка, хозяйства и культуры.

Во-первых, в состав латышской нации должна войти заглазно подавляющая часть людей латышской национальности — жителей республики. Во-вторых, ливы, территориально связанные только с Латвией; относительно вхождения их в латышскую нацию на правах отдельной народности и со своим языком существует полная ясность. В-третьих, латышские цыгане (особенно в провинции), которые из-за специфики языка территориально отединены от цыган других регионов; латвийские немцы и лат-



вийские жиды\*. Как группы населения, бывшие меньшинства, они были развеемы, хотя и по-разному, ветрами второй мировой войны и последующими катаклизмами, но их наследие и влияние на облик сегодняшней Латвии неоспоримы. Прежняя русская община либо денационализировалась, либо пошла по пути отчуждения от местных корней, чему виной другая школа. В четвертых, жители Латвии литовского, эстонского, русского, польского или иного происхождения, иной национальности, связанные с латышской нацией индивидуальными либо семейными узами. Для всех этих четырех групп характерны экономическая общность, исторические связи, латвийский патриотизм, а главное, знание латышского языка (не скажу «свободное владение», ибо это строго индивидуальная способность, далеко не все в совершенстве владеют и своим родным языком). Для молодых поколений основным показателем безусловно является школа с латышским языком обучения и отсюда вовлечение в культурные процессы, уходящие корнями в этот язык. Подобные культурные устремления представляют могучую силу, у меня нет сомнений, что, как только Латвия сможет нормально существовать в хозяйственном и культурном (включая языковые реалии) отношении, экономика и благосостояние пойдут в гору. Насколько многочисленны и весомы упомянутые этнические группы, определить несложно, и сделать это надо в ходе предстоящей переписи населения.

Кроме латышской нации следует иметь в виду мигрантов. Это люди, которые некоторое время живут в Латвии, но не связаны с латышской нацией, и не имеют к ней отношения. По моему, проблема мигрантов не так уж остра, они отнюдь не составляют большую часть недатышей и очень часто мигрируют себе дальше. Настоящие мигранты — это те, кто со сменой местожительства меняет культурно-языковую среду. В этой группе сегодня оказываются, между прочим, и люди латышской национальности, могущие даже впасть в другое языковое окружение — на крупных предприятиях, в новых жилых массивах, а особенно в Латгалии, где интеллигенты воруют нос от латгальского диалекта латышского языка. Словом, мигранты в Латвии — у кого есть альтернатива, каким языком пользоваться в качестве основного. «Иммиграция», включение индивида в латышскую нацию может произойти очень быстро, если человек осознанно формирует свое представление о мире, но обычно происходит, скорее всего, на протяжении жизни целого поколения. Мигрантам должна быть предоставлена возможность включиться в жизнь латышской нации, для чего необходима единая школа, где знание латышского обязательно вне зависимости от языка обучения и родного языка. В группу мигрантов входят и «латыши из России» 20—30-х годов (латыши по национальности, обычно в память о родителях), которых после войны сталинский аппарат использовал для советского строительства в республике. Еще сегодня такие «русские латыши» нередко выступают печатно и устно от имени латышского народа, пишут его историю, хотя сами даже и условно не могут быть причислены к латышской нации, так как слабо владеют латышским языком или вообще не способны говорить на нем хотя бы как на иностранном. Ни дома, ни в своей работе латышским они не пользуются, и, подобно всем мигрантам, во втором-третьем поколении уже полностью денационализировались. Типологически они сходны с латышами зарубежных «радиоголосов». У нас они, конечно, по паспорту латыши, но фактически являются таковыми только в глазах бюрократического и пропагандистского аппарата других государств. Чувством я понимаю, что в этом скрыта трагедия даже не столько отдельных семей, сколько целого народа. Умом вижу, что исторически этому феномену, по-видимому, приходит конец, так как латышская аудитория обостренно воспринимает артикуляцию говорящего, его произношение, и выдать себя за настоящего латыша очень трудно.

Как видим, в целом для мигрантов характерны колебания, что часто ведет к психологической нестабильности, а она может вылиться в агрессивность, шовинизм, правда, в «трамвайном» варианте, поскольку у воспитанного человека есть свобода выбора и он допускает также точку зрения оппонента. Вообще надо бы избегать употребления терминов «мигрант», «представитель такой-то национальности» и т. п. в единственном числе — необходимо считаться с индивидуальностью, собственными взглядами и самоуважением каждого человека. Но вот обязательным я бы считал требование указывать в паспорте каждого советского гражданина наряду с национальностью и то, гражданином какой союзной республики он является. А может, нужен закон «о подданстве», латвийские паспорта?

До сих пор мы говорили о нации и слое мигрантов. Но есть у нас и угрожающе растущая группа людей, по-прежнему имеющая прочную социально-экономическую базу и привилегированное положение. Все это не латыши, а люди, хотя порой более чем на протяжении одного поколения и связанные с латышской землей, но лишь тем, что обитают на ней. Эту группу я бы назвал колонистами, другого слова не подберу. Среди них витают идеи колонизаторской политики, русификации и геноцида. Обычно это отнюдь не идеологи, напротив — люди, плохо информированные и малотребовательные, служат они целям бюрократического ведомственного аппарата и никоим образом не представляют здесь ни русский, ни какой-либо другой народ. В жизни Латвии они не участвуют, производят в основном продукцию на вывоз или не заняты в производстве вообще и потребляют «культуру» в достаточных дозах по ЦТ, «Маяку», в кинотеатрах и на гала-концертах во Дворце спорта или Спортивном манеже. Над латышским языком они либо насмеваются, либо жалуются, что он им мешает жить. Латвия, в их понимании, не более чем топоним, такой же, как «Юрмала» или «Киш-озеро».

Миграция — явление мирового масштаба, и государства так или иначе ее регулируют: она вполне может иметь и положительное значение, как всякая интеграция вообще. Напротив, политика колонизации (все равно, сознательная или бюрократически неуправляемая) негуманна и унижительна как для того народа, который страдает от нее в результате разрушения привычных структур, так и того, чьи сыны становятся колонистами и тем самым дискредитируют своих соотечественников. Колонисты не нужны ни одной нации, потому что они тягостятся дискомфортом, неустроенностью и способствуют распространению дискомфорта вокруг себя, в их среде часты распушенность, агрессивность, паразитизм, а эта зараза перекидывается на все общество. Длительный застой, привилегии русского языка и возвеличивание русской культуры и истории (во всех без исключения школах и вузах!) нередко превращали их в воинствующих шовинистов (пока орудуящих только кулаками и цепями).

Хотя по паспорту многие из колонистов украинского, белорусского или иного происхождения, на практике обычно уже по дороге в Латвию, в поездах на участке Минск—Рига, они превращаются в завязятых великороссов, в которых говорит преувеличенный интернационализм, подмеченный еще Лениным у всех утративших свою национальную принадлежность нерусских людей. Великороссов в СССР по-прежнему ставят в привилегированное положение унаследованный от царизма пресловутый единоверческий аппарат (сломанный в 1917 году, но благополучно возрожденный сталинистами) и Вооруженные Силы. Они уничтожили право прибалтийских наций на самоопределение в 1940 году и по-прежнему парализуют сопротивление в духе демократических традиций. Не верится, что таковым может быть волеизъявление какого-либо народа, и так же трудно поверить, что в Советской России есть проблема жизненного пространства. Латвия с ее размеренной жизнью, Ригой и незамерзающими портами была, конечно, лакомым кусочком; ясно, что число колонистов этому прямо пропорционально. Но нельзя не видеть зависимости между числом их, с одной стороны, и жизненным уровнем и положением латышского языка в Латвии — с другой. Пропаганда (следовательно, идеология в целом?) с преступной близорукостью окрестила режимы поверженных государств фашистскими и националистическими, и открылись широкие возможности для лишения какого-либо слова численно рассеянных и идейно разобщенных в войне прибалтийских народов, тем самым естественное функционирование языка фактически исказилось. В языке — тончайшем и чувствительнейшем феномене общественной надстройки — все отражается, как в зеркале, — язык обеднен.

Большое число летунов и шатунов и отсутствие у нации права как-то повлиять на них привели к возникновению крупных колоний, обитатели которых мигрантами себя не чувствуют, да и не являются таковыми. В жизнь нации они включаются не желают, латвийский патриотизм им чужд, понятие родины для них исчерпывается фразой «здесь всё наше». По существу, они считают себя представителями русской нации на *своей* этнической территории и преспокойно ставят знак равенства между понятиями «советское», «русское» и даже «социалистическое». Ясно, что язык автоматически — русский. Стоит ли удивляться, что подобные толкователи «советского» и «социалистического» понятие «суверенный» просто подвергают осмеянию. Латыши — «бывшие». Интерес к культуре и архитектуре Латвии — чисто археологический, с латышской нацией гисеологически не связанный. Колониализм увенчан школьной системой и тем неопишимо низким уровнем, которому виной, по-видимому, нехватка овощей.

Трагизм в том, что колонисты уже не принадлежат к великорусской нации, так как живут вне пределов России, но их связи с нею — ведомственно-экономические, культурные, языковые — достаточно прочны, чтобы русская община Латвии (меньшинство или большинство) уже не могла возникнуть.

\* В русском языке это слово давно превратилось в оскорбительное прозвище евреев; между тем в латышском языке слово «жид» (*žids*) раньше было стилистически нейтральным обозначением соответствующей национальности, как и сегодня в Польше и Чехословакии, и лишь после второй мировой войны заменено словом «еврей» (*ebrejs*).



При отсутствии культурной политики в смысле языка и единой школы начался процесс стихийного самоочищения латышской нации. Это неуправляемый процесс, к чему он приведет — никто не знает, поскольку на одну территорию претендуют две нации.

Для мирного урегулирования ситуации важно понять, что в современном мире ни одна нация не решает своей судьбы в одиночку. Перестройка — это процесс, уходящий корнями и в международные отношения. Не секрет, что вопрос о суверенитете прибалтийских республик по-прежнему занимает важное место как в отношениях между СССР и США, так и в общеевропейском масштабе, а ядерная конфронтация отнюдь не устранена. Абсурдная политика в прибалтийском вопросе однажды уже сыграла свою роль в развязывании мировой войны. Сегодня неверная политика в этом регионе может сорвать перестройку и привести к гораздо более жесткой изоляции, чем после войны, ввергнуть в кризис.

На XIX партконференции генсек ЦК КПСС сказал, что каждый народ имеет право на свободное развитие. Следовательно, народ сам должен решать, что ему делать. Именно такова сущность перестройки. Резолюцию по национальному вопросу ни один народ не должен воспринимать буквально, ибо это резолюция КПСС, и составляли ее по большей части работники аппарата с центристским мышлением. Какую резолюцию могли бы предложить латыши, скажем, по Нагорному Карабаху, проблемам крымских татар или Каракалпакии? Но аппарат в целом не может сегодня повсюду поспевать за народом, выражать интересы каждого народа. На это еще долгое время будут неспособны и нацкадры партии (я имею в виду Латвию), по крайней мере до тех пор, пока они не завоюют безраздельных симпатий общества, организационной независимости и не заговорят живым, искрящимся и убедительным латышским языком. Надо ли удивляться, что резолюция по-прежнему гарантирует превосходство русского народа над другими нациями страны по меньшей мере в двух отношениях. Первое — это функция русского языка как средства межнационального общения (широкие массы обязаны его знать и учиться ему); впечатление такое, что не только в моменты официального общения наций, но и в быту, в разговоре с человеком другой национальности и, конечно же, с русским, где бы он ни жил, надлежит изъясняться по-русски, а это настолько удобно для русского человека, что лишь в редких случаях он дает себе труд овладеть другим языком и тяга к иностранному языку вообще атрофируется (недаром в СССР лишь 2% специалистов указывают, что владеют каким-либо иностранным языком). Второе — всяческая поддержка культурных нужд лиц, проживающих за пределами своей этнической территории, означает в первую очередь благоволение потребностям населяющих все другие республики русских людей; ведь не секрет, что и в абсолютном выражении, и в процентном отношении за рубежом своей этнической территории живет больше всего именно русских; спрашивается, из фондов каких республик будет оказываться такая поддержка (жители республик нельзя ведь разграничивать по национальным признакам, а также вмешиваться в дела других республик), или все же признание человека заключается в том, чтобы создавать материальные и духовные ценности? Буквальный учет этих обстоятельств (первого и второго) порождает угрозу русификации и трений. Хотелось бы верить, что делегаты Латвии не голосовали за такую резолюцию, где не соблюдены интересы латышской нации.

Компартия не может быть наднациональной. Способствует ли, однако, консолидации в Латвии существование двух равнозначных дневных газет ЦК КПЛ — «Цини» на латышском языке и «Советской Латвии» на русском? Они отнюдь не аналогичны по своему содержанию, а главное, идеологии. Если эти органы ЦК предназначены для разных целей, им следовало бы выходить на двух языках, а ежели нет — то какой же из них главный? Не разумнее ли выпускать одну дневную газету по меньшей мере на двух языках? Дневную печать люди хотят читать на том языке, которым лучше владеют. Пока же трудящиеся республики разделены по отсекам: ты латыш — на тебе «Циню», ты латыш — читай «Советскую Латвию»!

И наконец последний, но для Латвии, пожалуй, самый существенный вопрос. Коль скоро мы действительно хотим вернуться к ленинским нормам жизни и заветам Ильича, надо бы нам усвоить один раз и навсегда, что государство Ленина и Латвийское государство 11 августа 1920 года заключили между собой договор, в котором признали суверенитет друг друга, и для обеих сторон это был жизненно важный акт. Симпатии Ильича к латышским стрелкам нам хорошо известны и дороги. Ленин пользовался и пользуется уважением в мире и как политик-практик, и как идеолог. Для Ленина безусловно не были тайной настроения и чаяния латышских стрелков. В огне одной революции родились и Советская Россия, и государства Прибалтики. И если уж Ленин не давал указаний о том, каким путем и почему эти государства должны вступить в СССР, а я не верю, чтобы у него имелись

планы на сей счет, то, очевидно, жизненным интересам латышской нации более всего соответствует статья 72-я Конституции СССР, если Советская Россия (уже в составе СССР) преступает ее национальный суверенитет. Ошибки сталинизма пора исправлять! Экономика, психология, юриспруденция — в компетенции специалистов, но язык-то каждому дан и компромиссов не признает — или он у нас латышский, или нет.

Латвийское гражданство надо увязать с возрастом — если право голоса человек получает в 18 лет, то и давать гражданство Латвии тому, кто прожил здесь такой срок. Подобный закон никого ведь не лишит советского гражданства, но не дело позволять всякому-якому решать вопросы, относящиеся к интересам данной нации и быть избранным от ее имени. Другим важным критерием для получения латвийского гражданства должно стать знание латышского языка, удостоверенное на письменном экзамене. В конце концов для владеющих языком гражданский ценз может быть сокращен с 18 лет до 12 (время школьного обучения).

Сколько копий в Латвии не пришлось бы ломать и талдычить заново азбучные истины демократии, откажись мы однажды от профанации и употребления совсем не к месту эпитетов «советский», «социалистический» и т. п.! Трудно ли усвоить, что нация, которая в 1940 году разделила общую судьбу советских народов, — это та же нация, конституцию которой Советское государство признало еще в 1920 году, и ее законы должны оставаться в силе, коль скоро они не предписывают агрессии против кого бы то ни было и отвечают принципам самоопределения народов, Декларации прав человека.

Очевидно, что провозглашенная сейчас в Латвии политика «фактического соблюдения» двуязычия — это полумера и оттяжка времени. Принцип добровольности смешон перед лицом единства языка в армии, на транспорте, в денежных делах, о чем еще Ленин предупреждал. Двуязычие, билингвизм — термин языковедский, и относится он к людям, владеющим двумя языками. Но реально ли представлять себе, что все прописанные в Латвии одинаково хорошо знают латышский и русский? Разве не ясно, что 80% латышей на самом-то деле не владеют русским, а указали противоположное ради отписки, как на выборах, лишь бы оставили в покое; и неужто каждый четвертый латыш говорит по-латышски так славно, что аудиторы не приходится из сострадания просить его перейти на русский? Не стоит стремиться к подобному механическому двуязычию, это вещь нереальная — нация не существует с двумя языками, точно так же, как не живет двумя жизнями с двумя культурами и экономикой и в двух государствах; все представители нации тоже не вещают одним голосом и все разом представлять ее не могут. Поэтому решения, ядром которых является двуязычие, неэффективны сегодня и будут таковыми завтра, между тем трения продолжают и кризис назревает. А нам предлагают до 1993 года подготовить специалистов и потом до 2005 года обучать школьников! Это невладение ситуацией.

В самое ближайшее время, и чем раньше, тем лучше, латышский язык должен стать языком социалистического государства. Рабочим языком Советов. Делопроизводства, законов и постановлений. Дипломатии, когда она напрямую затрагивает или представляет Латвию — члена союза государств. Армии на территории Латвии, ибо Советская Армия — миролюбивая, оборонительная, а человек энергичнее, искреннее и честнее всего готов защищать свою родину, отчий край (вспомним латышских стрелков!). Целеобразно важнейшие документы публиковать и на русском и английском языках, чтобы обеспечить гласность и интеграцию. Владение этими языками считать обязательным по окончании школы и на государственной службе. Специалисты по филологии и общественным наукам в Латвии обязаны знать немецкий.

Между тем не стоит возлагать особые надежды на советскую школу, большинство из нас в ней училось и знает, что это такое. Сколько лет учат в школе интернационализму и иностранным языкам, без практики! Совершенно ясно, что не в школе те 80% латышей выучились кое-как лопотать по-русски. Я, например, стал понимать русскую речь, насмотревшись по телевизору футбольных репортажей и в кино — немецких фильмов про индейцев. Большинство выучивается говорить по-русски в принудительном порядке или само собой на улице, в магазине, поликлинике, в армии — в контактах с носителями живого языка, при чтении специальной литературы. Русский хуже знают в тех районах, где меньше удельный вес колонистов, и не надо закрывать на это глаза. Наивно было бы надеяться, что в школе, пусть даже единой, все теперь быстро и изрядно научатся латышскому. Школа вечно плетется в хвосте всех общественных идей и начинаний.

Если человека, приезжающего в Латвию без всякого понятия о том, что здесь происходит, не встретить как следует хлеб-солью, выказав официальное, культурное, духовное противостояние, то, оставшись у нас, он рано или поздно столкнется со стихийным противодействием в форме самоочищения, защитной реакции народа. И может настать момент,



когда пассивная масса колонистов перейдет в критическую массу, и окажется, что политика выжидания послужила «хорошим» детонатором взрыва.

Телепередачи с субтитрами, залы с синхронным переводом — кому же должен служить технический прогресс, если не человеку? Ведь вначале было Слово. Или языки народов СССР ущербны? Если латышский будет звучать, функционировать полифонически, его знать будут!

Вопрос о большой массе колонистов тоже можно решить, не нарушая привычной для них языковой инертности, — коль нет у людей интереса к латышской нации и языку, то почему бы их, колонистов, в планомерном порядке, с соблюдением принципов взаимной выгоды, не переселить вместе с жилыми секциями, с предприятиями, в продукции которых нуждаются, скажем, в России, туда, где есть сырье для соответствующего производства, — на основе компромиссных соглашений с РСФСР или другими республиками, заключенных, разумеется, под руководством мудрых политиков. В этом случае быстрее станут заполняться полки магазинов в тех регионах, и мы поедем туда в гости, и будем говорить, пользуясь средством межнационального общения, и нам определено будет что сказать друг другу, как представителям своих наций. Это несомненно выгоднее, чем ждать, пока из Латвии побегут без оглядки потому, что здесь будет самый низкий жизненный уровень и самая большая загрязненность.

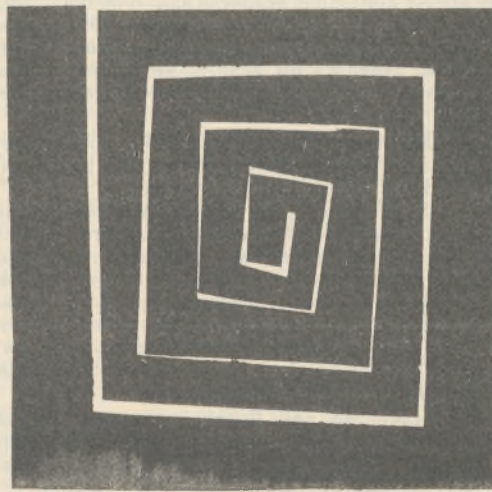
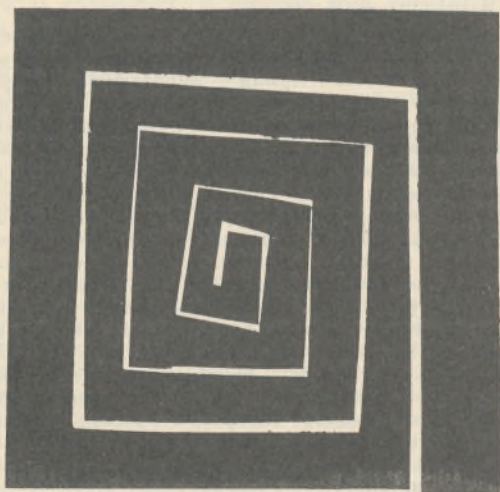
Объединенные Нации (United Nations) мы не называем «объединенными странами», но каково же представительство латышской нации в ООН, обеспечено ли оно лучше, чем в свое время в Лиге Наций (League of Nations)? Во всем мире считается само собой разумеющимся, что нация и государство — понятия конгруэнтные, взаимосвязанные, поэтому если у какого-либо народа нет своего представительства в ООН и вообще на международной арене, никому и в голову не придет считать с ним как с нацией; государство, в свою очередь, считается собственным делом каждой нации. А у нас в наши дни часто происходят курьезные вещи — скажем, вместо «сборной страны», «государственного флага» по зарубежным образцам вдруг возникают «национальная сборная» и «национальный флаг». Как-то неловко, когда у нации национальный флаг один, а государственный — совсем другой. Трогательно смотрятся, допустим, «национальные» футбольные или баскетбольные команды страны, ядро которых составляют украинцы, кавказцы, литовцы и латыши.

Неестественные ситуации возникают и в международных поездках. Как-то ректор Академии художеств Латвийской ССР поведал в прессе такую историю. Заполнял он в Англии какую-то форму, надо было указать nationality, по-нашему национальность, а во всем мире просто **подданство**; чиновник, понятно, вычеркнул Latvian и вписал Russian. Ясно, что одноязычный и существующий в пределах царской империи Союз для них — старая погудка на новый лад; чиновника не упрекнешь в невежестве, он-то понял, что такое latvian.

Долгие-долгие годы мы сетовали на свою национальную ограниченность и замкнутость, словно это смертный грех, будто если кто варится в собственном соку, «цовар» тут и ни при чем. На деле ситуация такова, что и владение русским языком по эту сторону уже не «железного», а «фанерного» занавеса никакого интернационализма еще не гарантирует. До сих пор главной причиной нашей ограниченности и провинциализма был фильтр, именуемый «русский язык» (а через него тем самым в очень большой степени и фильтр культуры, школьного образования). Попробуйте сегодня обратиться к латышской аудитории по-немецки (немцы до 1939 года были влиятельным меньшинством в Латвии) — не поймут. Значит, один язык ушел в небытие, а что взамен? Важно, наверное, понять, что усвоение других языков «освежает» владение родным языком, последний остается с человеком всегда, если сам он от него не откажется.

В наши дни не знать в странах Балтики английского столь же смешно, как не знать русского в Риге на Чиекуркалском рынке («Чекурильнике»), я уже не говорю о том, какое место занимает английский в жизни и системе образования некоторых стран. Поэтому стесняться говорить и писать по-английски не надо, даже если не уверен в себе. Любый язык оживает лишь в контактах, и цель его — достичь взаимопонимания, а не речевой или грамматической правильности, за которую учительница выставит высокий балл. Только так и можно преодолеть заскорузлый провинциализм.

**От редакции.** Пока верстался этот номер Верховный Совет Латвийской ССР принял решение о статусе латышского языка как государственного языка республики. Значит, одна из упомянутых в материале проблем уже решена. Но другие вопросы, поставленные автором, также заслуживают серьезной дискуссии, хотя его позицию во многом можно назвать спорной. Редакция, не придерживаясь во всем точки зрения автора, приглашает читателей принять участие в обсуждении статьи.





# МАРИС ГРИНБЛАТС

## ПЕРЕСТРОЙКА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

(Окончание. Начало в № 10)

Историк А. Я. Гуревич характеризует историческое познание и осмысление как диалог культур — прошлой и настоящей. Это верно и для соприкосновения разных культур в настоящем, контактов, в которых обогащаются обе стороны. Это и ключ к диалогу культур разных наций как форме их взаимообогащения.

Основной принцип этого ознакомления, осмысления вот в чем. Представитель одной культуры («своей») не отождествляет себя с другой (воспринимаемой), не вживается в нее, а ведет с нею диалог, при котором не происходит слияния сторон. Он вопрошает другую культуру, допытываясь ответа. И даже если ответ найден исследователем этой другой культуры самостоятельно, обогащение взаимное — ведь сам вопрос был продиктован не спекулятивным любопытством, а внутренними, актуальными проблемами культуры, которую представляет исследователь, то есть это такой вопрос, который, возможно, та, другая культура никогда перед собой и не ставила. Как видим, ответ не просто черпается из чужой сокровищницы, но активно добывается. И сокровенный смысл другой культуры раскрывается только в переводе, в иной знаковой системе. Следовательно, каждая культура в каждый данный момент «живет» в соседних культурах.

Почему «отсталое» может обогащать, служить уроком «передовому»? Дело в том, что «мудрые» ответы, и отнюдь не только вербальные, существуют в «отсталой» культуре не сами по себе, а добываются активными действиями «передовой» культуры, стремящейся разорвать опутание ее противоречия.

Спрашивается, не отрицает ли такое толкование культурных контактов прогресс? Человеческое общество — это вовсе не сумма атомарных образований: отдельно взятых индивидов, социальных групп, государств. Нет, это общественные отношения двух или нескольких сторон — наций, культур, эпох, школ, классов, каст и т. п. Поэтому прогресс заключается не в непрерывном росте какого-либо «атома». Прогресс состоит в развитии видов и форм указанных взаимоотношений. То есть это не ликвидация всех социальных различий (оппозиций культур), а их иная организация, и прежде всего переход от уничтожения «чужого», от противопоставления «своего» и «чужого» к продуктивному диалогу. Ведь монологические, замкнутые на себе культуры попросту занимают самодовольство. Они не ведут вопросов, проблем, сомнений, исканий и потому до краев полны ответов-пустышек — догм, лозунгов, штампов, клише. Развитие, которое пролегает между вопросами и ответами, им совершенно чуждо.

Диалог культур как нормальное существование и взаимообогащение наций есть то же отношение «нас» к «ним» или, точнее, его перевоплощение в отношения между «мы» и «вы». «Мы» не можем существовать без них. Поэтому даже централизованно-монологическое общество, которое опустило железный занавес перед всеми подрывными вторжениями других культур и вооружилось громогласно провозглашаемым и несчетное число раз повторяемым универсальным «мы», все же начинает искать «их», так как без тех, на кого можно взвалить ответственность за все открывшиеся язвы общества, не уберечь и единства этого «мы». «Они» нам угрожают! — и перед лицом вымышленных угроз теснее сплавляются готовые было распасться ряды. Еретики идут, ату их! Эти призывы слышались из уст представителей римско-католической церкви в конце эпохи средневековья, к тому же методу прибегали фашисты, сталинисты, маоисты и иже с ними в XX веке.

«Мы» без «них» действительно рушится, но нам нужны «они» не в образе врага, а в облике знакомых «вы», «ты». Существование многих «мы» позволяет человеку сделать выбор, примкнуть к той или иной культуре. Лишь принадлежность к «мы», пусть потенциальная, порождает самосознание, рефлексию, «я».

Продуктивный диалог возможен только между равноправными, самостоятельными партнерами. Именно поэтому республикам остро необходима большая самостоятельность. И это возвращение к Ленину. В 1922 году он писал, что «не следует зарекаться заранее никоим образом вернуться на следующем съезде Советов назад, т. е. оставить союз советских социалистических республик лишь в отношении военном и дипломатическом, а во всех других отношениях восстановить полную самостоятельность отдельных наркоматов» (т. 45, с. 361—362). Дробление комиссариатов, несогласованность в отношении Москвы могут быть парализованы «партийным авторитетом», если он будет употребляться «со сколько-нибудь достаточной осмотрительностью и беспристрастностью». Вред от «отсутствия объединенных аппаратов национальных с аппаратом русским неизмеримо меньше, бесконечно меньше» вреда от «малейшей грубости и несправедливости по отношению к инородцам».

Расширение суверенитета национальных республик, их культурной автономии способствовало бы расцвету культур всех наций, и они смогли бы сблизиться, обогатить друг друга, сохраняя свою самобытность. Основой такой программы может служить переход республик, иных этнических регионов на полный хозрасчет. Каждая республика, сама себя финансируя, превратится в подлинного, а не номинального хозяина своих богатств, созда-

дутся все условия для самоуправления экономикой и культурой. С целью нейтрализации центральной и республиканской бюрократии необходимо заменить командные ведомства разного ранга хозрасчетными группами высококвалифицированных специалистов (экономистов, юристов, социологов, отраслевых специалистов), работающих по соглашениям с предприятиями, производственными объединениями одной или нескольких отраслей, изучая крупные, общего характера проблемы, которые не под силу предприятиям.

Такой порядок нанес бы тяжелейший удар по всей административно-бюрократической системе и соответствующей психологии, так как общественное положение групп «менеджеров-исследователей» определялось бы не высокими должностями и зарплатами, не социальными привилегиями и званиями, а единственно профессиональной квалификацией, инициативой, оперативностью, широкими правами (самостоятельное заключение договоров с исполнителями, техническим персоналом и т. п.) и способностью выдерживать соревнование с аналогичными группами, организованными добровольно самими специалистами.

### НЕ МОГУЧИЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИК, А СОЮЗ МОГУЧИХ РЕСПУБЛИК

В первом случае — ослабленные, легко управляемые республики и кажущийся могучим союз. Во втором — могущество союза гарантируется автоматически.

66 лет назад советские республики объединились для восстановления и укрепления своего народного хозяйства, совместной обороны против внешних врагов и подавления внутренней реакции. Не республики существуют ради союза, а он им служит. Так было задумано, так должно быть. Думать иначе — значит допускать ошибку сторонников насилия коллектива над личностью. Они говорят, что личность должна служить общему делу, подчинять себя коллективу — некоему сверх- и надличностному субъекту чуть ли не с божественными функциями. И не смеет говорить и даже задумываться о том, а служит ли общее дело тем, чьим общим делом оно является, и как с предлагаемой формой коллективизма — развивается она, возвышает индивидуальность или поглощает и подавляет ее?

«Я» не может существовать без «мы» как регулирующего принципа, но сила и могущество «мы» зависят от степени добровольности влившихся в него «я», а не от числа отдельных индивидов, пытаящих под тяжестью бронзового кумира.

Обязанности нераздельны с правами. Давая больше прав на местах, надо вместе с тем брать на себя больше ответствен-



ности за хозяйство, экологию, культуру республики. Если не будет реальной самостоятельности принятия решений здесь, в Латвии, то мы еще долго будем списывать на Москву — открыто или втихую — все крупные неудачи и провалы. И частично будем правы. Реальная самостоятельность и ответственность — предпосылки активности масс. Без укрепления автономии нечего и думать о настоящей активности трудящихся республики. Все ждут и будут ждать распоряжений и наглядных примеров из центра.

Необходимо перевести в конкретные дела то, что уже зафиксировано в Конституции СССР. Союзная республика названа там **суверенным** советским социалистическим государством (ст. 76), но было бы полезно конституционно ограничить prerогативы центральных органов власти в отношении управления экономикой, культурой республики и т. п. На основе таких конституционных ограничений целесообразно принять законы и программы, которые бы учитывали специфику каждой союзной республики.

Еще раз подчеркнем — речь идет об автономии **социалистических** республик, а не о буржуазном сепаратизме. Такая программа может представляться подрывом основ только человеку, который считает недопустимым, например, существование суверенной Польской Народной Республики лишь потому, что большая часть польской территории в свое время входила в состав царской России, причем почти так же долго, как Латвия.

Среди плюсов автономии — свободные, демократические и продуктивные контакты через республиканские границы, и пусть приезжают и отправляются в гости приобщаться к культуре, учить других и у них учиться, а не люди в кирзовых сапогах или шастающие по магазинам мешочки.

То же касается проблемы личных контактов людей разных стран. Поездка за границу из награды должна превратиться в форму лепки индивида, как некогда кругосветное путешествие. Огражденное от информации и человеческих контактов государство не содействует осознанию необходимости многоцветья, многообразия, зато способствует выработке чувства национального превосходства и прочих видов нетерпимости. Живительная среда для тоталитаризма и деспотизма во всех сферах! Распространение идей многообразия, плюрализма не означает отказа от идеологической борьбы, скорее это отказ от интриг определенных группировок и клик в пользу действительной борьбы идей.

Позитивный вклад в знакомство с культурой других народов должна внести реформированная и автономная школа. Пусть дети сызмальства проникаются эмоциональным, заинтересованным отношением ко всему необычному, странному, «не как у нас» и не смотрят на образцы культуры своего народа как на единственно возможные, а оттого самые лучшие и верные. Глядишь, и ума наберутся.

Мы все отчетливее понимаем, что никакие чисто экономические достижения не приведут к Храму — обществу нового типа, новому человеку. Наоборот: существенная переделка механизма функционирования общественных отношений, развязывание инициативы людей — условие хозяйственных достижений, подъема уровня жизни народа. Для того чтобы осуществился переход от эпохи государственных институтов и чиновничества к народ-

ному самоуправлению, надо отбросить порядок, при котором знания об обществе фактически являются никаким законом не закрепленной привилегией одной, численно небольшой социальной группы. Так им удобно — перекрывать дорогу самоуправлению, отговариваясь некомпетентностью масс в столь сложных делах.

Конечно, чтобы участвовать в управлении общественными (читай: людскими) отношениями, знания о них **тоже** нужны. Но нужна тысячекратно убежденность, воплощенная в эмоциях. Знания не энциклопедические, а **такие**, когда каждый чувствует всей кожей свое большее или меньшее, но при всем при том громадное неведение в этой области. Это великое чувство, ибо оно 1) лишает человека веры, что достаточно доброй воли, революционной убежденности («с наганом в руке, с Лениным в башке»), чтобы решать сложнейшие на свете вещи — судьбы других людей и 2) создает желание и возможность самообразования. Пока школа с этим не справляется. А это сегодня одна из основных ее задач. Долой школу как учреждение, где ребенка нафаршировывают идеями и знаниями, **которые сегодня признаны верными** (а времена, как видим, меняются) и да здравствует школа как учреждение, где сохраняют и преумножают культуру, а ребенка подводят к мысли о необходимости постоянного самообразования, самосовершенствования. Уверен, что нынешняя реконструкция общества станет полнозвучной только в том случае, если к самофинансированию, самоуправлению добавится самообразование, и юный, входящий в жизнь человек будет совершать путешествие в мир культурных и иных ценностей, в мир идей и фактов не за ручку, как дитя, не по тропе, жестко проложенной учителем, школой или наробразовской программой (учитель, школа, а даже, подумай ведь, программа ох как могут ошибаться!), а по собственному выбору, подсказанному друзьями, единомышленниками, продиктованному собственными поступками, своим умом, словом, **самоопределением**. Впрочем, этим поводирымы мы все и следуем, но только слепо, неосознанно, а надо, чтобы с открытыми глазами, критично, тогда при необходимости человек сумеет сказать «нет!» Самоопределение личности в большой мере обобщает, соединяет в себе и самофинансирование, и самоуправление, и самообразование, это наиболее полный **фундаментальный принцип организации** человеческих отношений в любой сфере.

Самоопределение необходимо всюду. Правда, некоторые нас пугают: мол, самоопределение в производстве означает стихию рынка, в общественном управлении — анархию, в просвещении и воспитании — индивидуализм, в области национальных отношений — сепаратизм или чего похуже. Не сомневаюсь, что многие, и среди них высокоученые мужи, всерьез полагают, что принцип самоопределения приведет к катастрофическим последствиям. Небось слышали: «Дайте всем полную свободу, и все уедут **туда**». Полноте! Абсурдные рассуждения, тут диалектики и не пахнет. Но сильно пахивает прошлыми десятилетиями, когда многие ответственные и облебенные властью лица **на словах** восхваляли превосходство нашей страны и социализма буквально во всем, а на деле, тайком, считали, что у них-то все, ну все лучше нашего и кто же удержится от соблазна, коли волю дать. Страх перед последствиями «свободы» в большой степени

объясняется у этих людей тем, что они выросли в обществе, где разделение людей на тех, кто определяет и распоряжается, и тех, кто исполняет, является нормальным. Это бюрократический социализм, при котором все вопросы, затрагивающие жизнь народа, обсуждаются и решаются келейно. Подчас и решения остаются неизвестными. Обнаруживают себя только, когда их начинают проводить в жизнь. Опорой подобного общества служит непомерная монополия не только на средства производства и управление им, но и на информацию — об истории, о сегодняшнем дне, монополия на «известную» часть духовной культуры и правду (если не на истину в последней инстанции, то по меньшей мере на последнее слово). И это еще не демократия, когда все говорят вволю, но до тех пор, покамест не треснет железным кулаком по столу и не объявит с металлом в голосе: «Тихо!» Поговорили, облегли душу, и ладушки, а решение принимаем вот какое, вот оно у меня заготовлено, вы послушайте, примите к неуклонному исполнению, рот на замок и живо за работу, товарищи! Вообще-то все это может казаться в порядке вещей, пока обладатель железного кулака обладает некими специфическими знаниями — данными «для служебного пользования» и с грифом «секретно», выводами, позволяющими проникать дальше, зреть шире и глубже, чем простой народ. Право свободно говорить и свободно вопросы задавать — никакая не гласность. Должна быть и обязанность — **выслушивать и давать ответы**.

Вернемся к проблеме образования. Накачка самыми отборными знаниями еще не формирует убежденности, когда человек, этими знаниями вооруженный, готов к активным действиям. Личную убежденность формирует только **выбор** — стоя перед выбором, человек обычно испытывает сильное желание примкнуть к одной из сторон, идти вместе. Отчего же мы закармливаем учащихся препарируемыми сочинениями классиков марксизма (и чтоб не попало им на глаза непроглаженное, непротуженное), одними фактами канонической истории, «классическими» произведениями литературы и искусства, как правило, в отрывках? Нормальный выбор невозможен без религиозной литературы (Библии в первую очередь), работ современных западных мыслителей, исторических фактов, не нашедших пока объяснения, но заставляющих думать. Тогда человек не просто овладевает знаниями, у него сформируется убежденность. Не этого ли боятся догматики, администраторы духа? Именно. Ведь «убежденность» у них самих простая, как две копейки: позволяй только нашему человеку свободно выбирать — и он **всецело** выберет религию, а не марксизм, буржуазное, а не социалистическое, грязное и непристойное, а не доброе и прекрасное. Почему? Ну потому, что он еще мал и несознателен. Это точно. Как же ему выдать, ежели все время он и слышит и видит одно и то же, одно и то же?

Страх этот высвечивает состояние, до которого они своим особым обучением довели народ. Проникнутые идеей самообразования значит взрыхлить почву для такой убежденности, когда каждый человек поймет, что он не пешка, не винтик, а ценность, богатство и другим людям необходим не той своей стороной, которая у всех одинакова, а духовным наполнением, которое у всех у нас разное.





## АРВО ВАЛТОН

# О НАРОДАХ У НАС И В ДРУГИХ КРАЯХ

### Фактическая обстановка

значительно отличается от той, какую мы привыкли извлекать из литературы. Быть может, это так во всем мире, но у нас — наверняка. Достоверную картину можно получить, лишь побывав на местах и беседуя с людьми.

Я бывал в большинстве автономных республик, областей и национальных округов СССР и интересовался тамошней собственной язычной культурой, исторической судьбой и возможными перспективами. Для сравнения я изучал состояние и проблемы национальных меньшинств в остальном мире. Поэтому я хотел бы предложить некоторое дополнение к статье М. Хинта «Взгляды на двуязычие»\* и более обширному сочинению Р. Руутсоо «Язык и культура»,\*\* которые основываются главным образом на данных литературы и представляют компетентные теоретические точки зрения.

Узловой проблемой языкового состояния любой культуры являются ее система образования и возможности к собственной язычной школе. В этом сосредотачивается почти все. Только за этим следует уровень литературы, существование средств информации и т. д. Данный момент состояния языка отражается в его перспективах. Даже самые значительные усилия в области культуры не имеют смысла, если в перспективе просматривается омертвление или исчезновение этой культуры.

В сборнике статей, вышедшем в 1977 году, «Современные этнические процессы в СССР», приведены сведения о школьном образовании на языках национальных меньшинств.

Если в первые годы советской власти на самом деле уделялось внимание национальным школам и национальные меньшинства воодушевленно создавали собственную язычную культуру, то уже в тридцатые годы возможности были стеснены, и началось наступление русского языка. В 1938 году было опубликовано постановление об обязательном обучении русскому языку в национальных республиках и областях. Перевод национальноязычных школ на русский язык особенно ускорился после войны. Для народов, которые были полностью высланы из своих родных краев в 1943—1944 гг. (балкары, карачаи, ингуши, чечены, калмыки, крымские татары, приволжские немцы) и которым в 1957 г. было разрешено переселиться обратно (кроме двух последних), собственная язычная школьная образование не было возобновлено. В особо трудном положении находятся народы Северного Кавказа: осетины, адыгейцы, абхазцы, черкесы полностью лишены собственноразличных школ. То же самое произошло с малыми народами Сибири (манси, ханты, эвенки, эвены, эскимосы, чукчи, коряки, не говоря, например, об ительменах, юкагирах и других, у которых свои географико-

политические административные единицы отсутствуют). У большинства народов Российской Федерации школа бывает собственноразличной лишь до второго или третьего класса начальной школы (алтайцы, авары, азербайджанцы, проживающие за пределами своей республики, даргинцы, хакасы, коми, кумыки, лаки, лезгинцы, марийцы, мордвинцы, табасараны, удмурты). Но есть места, где родной язык преподают лишь в подготовительном классе, и с первого класса учебная работа начинается на русском языке (абазинцы, ногайцы, ненцы). Отдельные собственноразличные средние школы в 1977 году были у татар и башкиров, до 8-го класса обучение на родном языке получали якуты, до 7-го класса — тувинцы, до 6-го класса — буряты, до 4-го класса — чувашцы (кстати, последних в полтора раза больше, чем эстонцев). У эскимосов уроков родного языка нет вообще, у хантов, мансов, эвенов они есть лишь в первом учебном году, у ненцев, эвенов, чукчей — на трех первых.

Данные, приведенные в рассмотренном сборнике статей, весьма печальны, но действительность, к сожалению, значительно хуже. Где отмечена школа на родном языке до 3-го класса, следует читать: такие школы еще найдутся лишь в отдельных селах, в городах их нет вообще, но есть районы, где и в селах нет ни одной такой школы. Где отмечены 8 классов или даже средняя школа на своем языке, большая часть учебных предметов все равно русскоязычна. Это явление встречается и в нескольких союзных республиках. На Украине, в Белоруссии, республиках Средней Азии целые средние школы переводятся на русский язык. Лишь в отдельных местах можно заметить стремление остановить эту тенденцию или, по крайней мере, противостоять ей. Но, к сожалению, в центральной печати даже теперь, во время так называемой перестройки, в связи с событиями в Алма-Ате и Фрунзе это трактовалось как фактор, разжигающий национализм.

Если отсутствует собственноразличное школьное образование, трудно говорить о собственноразличной культуре. Единственным выражением литературного языка остается художественная литература, но возможности ее ограничены, если отсутствует современный и развивающийся словарный запас даже в таких областях знания как история, география, природоведение, которые в школе преподаются на чужом языке. Родной язык отходит в качестве кухонного языка, собственноразличная художественная литература превращается в какой-то реликт, в котором искусственно поддерживают жизнь. Точно так же, как иной фольклорный ансамбль, хотя самого народа почти уже не существует, и участники ансамбля — инородцы. Это напоминает переодетых в индейцев украинцев Канады, которые перед туристами с удалью пляшут боевой танец краснокожих.

Физическому сохранению народа могут способствовать фольклор и живая художественная литература, если в целом она не подчиняется чужим моделям, а пытается исходить из склада ума собственного народа.

Разумеется, у всех упомянутых народов — и обстоятельства образования у них двуязычием. Два языка этих народов нельзя считать равными, если через один доступна почти вся мировая культура, а на другом для требования этого отсутствуют даже малейшие возможности.



## Почему состояние таково!

Может быть, в иных краях люди к своему языку и культуре безразличны. Но чаще всего это порождено безнадежностью реально развивать свою культуру. В сохранении языка заинтересованы все, рабочие иногда бывают даже решительнее интеллигентов, от которых судьба языка зависит больше. Мне не раз жаловались, что собственноразговоры в трудовых коллективах люди других народов воспринимают как хамство. В автономных округах я встречал русских, которые говорили: «Они не борются за свои права!» Но большинство мигрантов считает скорый переход на большой культурный язык для малых народов единственно возможным благом. Чаще всего все-таки приходилось слышать утверждения местной интеллигенции, что малейшее требование к правам собственного языка в любой области жизни трактуется как национализм. Это слово звучит более угрожающе, чем избитые уже до смешного изречения, такие как «враг народа» или «фашист», которые в последнее время в России приобрели чуть ли не ореол могущества — в случае, если это не сказано именно о прибалтийцах.

Мордвинцы, судя по данным переписи населения и, возможно, и по личному опыту — один из наиболее быстро вымирающих народов в СССР. Еще недавно их было больше, чем эстонцев. Уменьшение численности населения означает, что люди записывают себя русскими и, наверное, тогда и чувствуют себя ими — это прямое образом связано с ситуацией культуры и самосознанием народа. Самосознание — главный выразитель национальной жизнеспособности. Только тогда, когда писатель, пишущий на мордовских языках, публикует свое произведение на русском языке, на него станут смотреть как на настоящего писателя. В то же время у мордовцев, проживающих вне автономной республики (а там находится большинство народа), нет даже той возможности собственноразговорной культуры, которая существует в искусственно созданных пределах республики. Они удивлены и тронуты, узнав, что литература на мордовских языках вообще существует. Свидетели этому — сотрудники журналов, которые развешивают, собирая подписку на собственноразговорные журналы. Такая агитация, кстати, проводится почти во всех автономных республиках, что указывает на отсутствие веры населения в возможности своего языка и культуры, а также на отсутствие потребности, ибо образование получено на другом языке.

В культурной жизни этих народов в последнее время можно отметить одно положительное явление: на основании известной всесоюзной директивы насчет улучшения положения в детской литературе автономные республики получили право на основание собственноразговорных детских журналов. Они еще весьма молоды, но прилагают героические усилия, чтобы обеспечить подписку. Однако при особо жизнеспособных народах (чеченах и др.) обычно то, что деревенские дети до школы не знают ни слова по-русски. Таким образом, первые классы их школ напоминают наши школы в конце прошлого столетия и в начале нашего, когда за эстонскоязычную болтовню на перемене учителя поусерднее наказывали ребят. Многие родители и дома переходят на русский язык, чтобы детям в школе было легче.

В союзных республиках, где собственноязычная школа в какой-то степени существует, родители часто посылают детей в русские школы. В Закавказье это делается главным образом для того, чтобы повысить возможности получения высшего образования. Своих вузов недостаточно, в условиях коррупции поступление и учеба в них стоили очень дорого, люди победнее искали возможности учебы в других местах.

На Украине и в Белоруссии бывали и некоторые времена искреннего вдохновения, коснувшиеся известных слоев народа, которые по своей воле перешли на русский язык. Чаще всего мы все-таки имеем дело с разными нечестными приемами, когда украиноразговорная школа превращена в русскоязычную. Чтобы перейти на русский язык, собраны заявления от какого-то десятка родителей, которые выразили желание этого, и дело кончено, не обращаясь к остальным. Или же образованы спецгруппы из более одаренных учеников, которые учатся на русском языке, и тогда на основании их знаний доказано, что учеба единственно на русском языке создает лучшие предпосылки для поступления в вузы и преуспевания в жизни. Это вещи, про которые в газетах не пишут — если нет умения читать между строк, — но о чем можно услышать, беседуя с людьми.

## Кто это осуществляет!

Нельзя сказать, что денационализация осуществляется планомерно с центра. Хотя и это полностью исключить нельзя. Чаще всего мы все-таки имеем дело с желаниями и высказываниями отдельных лиц. Эти желания, разумеется, имеют глубокие исторические корни, еще до идеологии «Третьего Рима», естественным выражением которой было расширение империи, бесконечные войны против слабых соседей, а продолжением — также т. н. идея всемирной революции.

Желания отдельных лиц переходят в политику. Несмотря на то, что публичные лозунги говорят о многонациональном государстве и процветании национальных культур.

Прежде всего на каждом уровне действует централизация. В частности, промышленная и военная. Любопытно, что теперь, когда говорят о демократизации и местной инициативе, сплошь и рядом представляются проекты о создании центральных органов и центрального контроля. И это — даже в области искусства.

В местные учреждения — особенно в т. н. центральные учреждения и предприятия всесоюзного подчинения — беспрепятственно поступают требования, чтобы делопроизводство, в частности, вся документация, велось на русском языке. Основание — то, что контролер, прибывающий на место раз в два года, не способен читать эти документы на других языках. Как будто перевод — что-то чрезвычайное; в подлинно многонациональном государстве это ведь должно бы быть само собой разумеющейся предпосылкой сосуществования.

Еще недавно два человека, работающие в следственных органах, получили взыскание за то, что в столовой, когда к столу подсел третий товарищ, они продолжали беседу о вчерашней рыбалке на эстонском языке и не перешли на язык межнационального общения, проявляя этим страшнейший национализм.

Разъезжая по автономным республикам — а почему бы и не по Эстонии? — у меня сложилось впечатление, что главны-

ми формирова́телями национальной политики являются занимающие начальственные места маргинальные лица, у самих у которых национальность и национальная культура фактически отсутствуют. Корни их — в местном народе, у них фамилии местных родов, но уже несколько поколений подряд, реже — в первом поколении — относительно культуры и языка они денационализировались. Культуру своих предков они потеряли, а новая культура еще не совсем стала своей, и, таким образом, у них нет никакого фундамента под ногами. Именно такие — самые яростные денационализаторы. Не только потому, что они сами движутся в этом направлении, и оно кажется им единственно правильным. Они как будто, кажется, сердиты — это ясное проявление комплекса — на всех, кто хочет сохранить свою традиционную культуру. Они против и традиционной русской культуры и говорят о какой-то безнациональной культуре. Они являются и главными обвинителями в национализме. Их поддерживают люди, которые страшно боятся, что сами могут быть обвинены в национализме и лишиться своих удобных мест.

Таким образом, прославленный интернационализм в действительности часто оказывается отсутствием всякой культуры. Уважать другие культуры может лишь тот, кто имеет собственную культуру.

В Удмуртии привели печальный пример: начальник роно, который в своем районе закрыл все удмуртскоязычные школы, вскоре стал министром просвещения автономной республики.

К чести многих московских интеллигентов надо сказать, что они готовы поощрять нацией национальных меньшинств поощрять за собственноразговорные школы и собственноразговорную культуру. Но, наверное, еще больше там тех, кто говорит: «Зачем им это?»

Апологетами двуязычия и скорой национальной ассимиляции чаще всего являются теоретики, оставляющие впечатление, что они не знают ни языка, ни культуры ни одного национального меньшинства. Это для них что-то непонятное, и научную самоуверенность их можно поколебать, лишь указывая на возможность ассимиляции наций или языков еще большую. Даже совет всем в мире перейти на латинский алфавит заставляет их чесаться. Хотя такая точка зрения, исходящая из безуспешной идеи всемирной революции, в 20-е годы в СССР явно существовала. Все новые литературные языки создавались на базе латинского алфавита, арабское письмо заменили латинским. Переход на латинский алфавит и русского языка обсуждался вполне серьезно, препятствием стало лишь то обстоятельство, что в типографиях не хватало шрифтов. Но в 1930-е годы все было переведено на русский алфавит. В том числе даже румыноразговорные молдаване. В 1941 году удалось ввести кириллицу и в самостоятельных государствах — Монголии и Таннугуе. Позже дело не продвигалось с таким же успехом, хотя и после войны даже в Тартуском университете нашелся приспешник, который сделал подобное предложение относительно эстонского языка.

## Состояние нас самих

кажется нам, по сравнению с другими, сверхблагополучным, как будто бы в отношении языка и культуры мы жили буквально в тепличных условиях. На самом деле это далеко не так. Нужно иметь в виду



судьбу братских народов, чтобы не прокатиться вниз с такой же быстротой. Ложное представление о процветании нашей культуры и языка усыпительно. Почему бы нам не сравнивать себя с другими европейскими государствами такой же величины, у которых может быть немало экономических проблем, которые жалуются на наступление плебейской массовой культуры, исходящей из Америки, на которые все же не чувствуют себя под серьезной угрозой в культурном отношении и не теоретизируют вокруг потребностей в ассимиляции?

Но у нас есть и общие с ними опасности. Прежде всего это касается интернационализирующей науки, в основном англоязычной (более 80% всей научной информации). Наука — современная религия, заводы сажи — ее храмы (поэтому и нельзя закрывать те, что ничего не производят, — как-никак святыни), статистика — ее лжепророк. Ученые — мелкие клерикалы, среди которых царствует мнимый покой и честное соревнование, на где обилие интриг сравнимо только с большой политикой.

У нас нет, так сказать, культурного покрытия, если понаблюдать за собой в современном мире. С одной стороны, это общая проблема малых народов, с другой же — специфическая реальность именно нашего государства. Отсутствие покрытия, чувство многочисленных белых пятен, безыформированность ясно чувствуются безо всякого сравнения. Невелика беда то, что, хотя мы один из наиболее переводящих малых народов, у нас фактически нет обзора литературы других народов. Беда побольше в том, что в нашем письменном, а следовательно, и в устном культурном сознании отсутствуют целые пласты жизни, человеческой деятельности, в частности, науки. С точки зрения всеобщей культуры не так важно, чтобы один народ пытался заниматься всеми науками на глубинном уровне. Для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире, достаточно и популяризаторов. Разумеется, каждый народ должен был бы усердно заниматься своими национальными науками, это за него делать никто не будет, а у нас, например, Институт языка и литературы уже десятилетиями был национальным позорным пятном — не помню ни одного съезда писателей, на котором безнадежно не критиковалось бы его руководство, которое с последовательностью тормозит развитие части культуры, находящейся в его ведении. То же самое можно сказать о плачевном состоянии классической филологии, философии и многих других фундаментальных наук в вузах Эстонии. И те малочисленные научные кадры, что у нас имеются в естественных науках, больше всего, пожалуй, в физике и химии, в большой степени отвыкли от собственноязычной культуры и пытаются свои — насколько значительные? — научные работы публиковать на больших международных языках. При этом не думая о том, что действительно новая информация, которая в данной работе ограничивается в лучшем случае одним-двумя предложениями, передаваемая в резюме объемом в полстраницы хоть на семи языках. Остальная компиляция могла бы иметь настоящую ценность, если бы она на эстонском языке ознакомила эстонское культурное сознание с одной областью знания, в своих введениях и выводах дала обзор того, что в данной области сделано в мире.

Так что действительно глупо ругать чело-

века другой народности, который в магазине или в сберкассе не хочет говорить с тобой по-эстонски, если в то же время ученые, родом эстонцы, на эстонской земле отказываются принимать участие в эстонскоязычной культуре своей каждодневной научной работой.

Совсем убогим состояние эстонского языка вырисовывается, если подумать о том, что основное делопроизводство в экономически важных звеньях чужезычно. Если на стройках, на заводах или в шахтах еще можно услышать разговоры на эстонском языке, то эстонскоязычную документацию там почти уже не найти. Еще два десятилетия тому назад было вдоволь предприятий, где делопроизводство было эстонскоязычным. Упадок здесь налицо. Для оправдания этого нельзя приводить обстоятельство, что большинство этих предприятий многонационально по составу трудящихся. Это не обуславливает само собой разумеющееся представление, что в одной национальной республике должен единовластно владеть язык другой национальной республики.

Современная экономическая реальность создала во всем мире интенсивную миграцию. Неравномерность развития породила предпосылку для явления, когда определенный человеческий контингент оторвался от своих корней и мчится по свету в поисках лучшей жизни. Например, в Западной Германии находится множество турецких рабочих, но не слышно, чтобы какое-нибудь предприятие там перешло на турецкий язык.

В то же время знаю в Австралии врача-эстонца, который научился греческому и арабскому языку, чтобы лучше общаться со своими пациентами — свежими иммигрантами. Это пример добровольного снисхождения, за которым кроется, разумеется, не только желание увеличить свою практику, но и желание лучше понять больных и помочь им.

### Национальные проблемы сложны

и вокруг них было много рассуждений. Никто не сможет указать, где такой количественный или качественный предел, за которым можно желать культурной самостоятельности той или другой нации. Даже дефиниций нации весьма много, и их, может быть, еще прибавится во время, когда увеличивается безнациональный, промежуточный, отражающий всякие переходные явления человеческий контингент.

Быть на своей земле, все равно, какая у кого славная или воинственная история, — это для нации счастье, и это счастье надо уметь беречь. Главной предпосылкой сохранения и оздоровления нации, кажется, является ее дух и духовность. Иллюстрацией к этому может послужить как история Китая, так и сегодняшний день Японии. Величайший народ современности вырос без завоевания других народов военным путем. Он ассимилировал тех, кто завоевывал его. И это — благодаря своему трудолюбию, сильному духу, гибкости и высокой, уважающей традиции культуре. Римлянина, который сказал: «Хочешь мира — готовься к войне!», давно уже нет.

Иногда в дискуссиях в качестве примера приводят состояние в бывших колониях, где коренной народ уже полностью отнесен в сторону и господствует язык первого колонизатора — США, Канада, Австралия, Латинская Америка и др. У новых иммигрантов там на самом деле, как правило, не было возможности сохранить свою национальную идентичность. Но надо иметь

в виду, что они сами добровольно — или же под принуждением обстоятельств — оторвали свои корни от родной почвы и отправились туда в поисках иной жизни. Часть упомянутых государств на основе национального конгломерата постепенно создали новую культуру, но какая-то бескоренность и люмпенство в культуре дают себя чувствовать еще довольно долго.

Переходов в чужие культуры, примеров потери языка из истории можно привести много. Народы не могут жить в изоляции, какие-то явления культуры — в последние столетия особенно бурно развивающуюся технологическую культуру — перенимают друг от друга повсюду. Основа любой настоящей учебы и плодотворного перенятия — добровольность. Этому способствуют осознание полезности и необходимости при сложившейся обстановке.

Сквозь всю историю проходило и насилие, и эти два противоположных фактора во взаимном влиянии культур должны бы быть отчетливо различимы между собой. Часто в повседневной жизненной практике они таковы гораздо больше, чем в теоретических рассуждениях.

Церковь в Европе сделала господствующим язык Римской империи, его поддерживала развивающаяся наука. И все-таки сегодня мы считаем отступление этого международного языка культуры закономерным. На фоне этого процесса особенно бессмысленны речи о всеобщем слиянии и всемирном языке. Английский язык сейчас в мире в какой-то степени исполняет роль латинского языка, но почему-то теоретики советских центральных институтов не торопятся высказывать призывы, чтобы мы все перешли на английский язык.

Думаю, что этот язык как язык общения и язык науки имеет многие хорошие стороны, но и довольно существенные недостатки. Кажется, по ясности и краткости он уступает даже латинскому языку. Если язык научного общения непременно должен существовать, то почему бы не эсперанто? Никто бы не опасался, что когда-то их потомки превратились бы в говорящих только на эсперанто.

К счастью, сегодня и многие представители реальных наук стали понимать, что многоязычие, являясь носителем различных образов мыслей, может быть одним из источников научной креативности.

Языком элиты на эстонской земле после латинского языка в течение нескольких столетий был немецкий. Разноязычие словес народа — довольно обыкновенное явление в мировой истории. Наконец эстонский язык достиг возможности заговорить во весь голос. По какой причине мы должны бы отказаться от этого? Разве только потому, что в некоем союзном государстве существует поддерживаемая главным образом промышленной деятельностью миграция?

### Что делать?

Знакомясь с состоянием многих малых народов, в частности, в нашей стране, я пришел к выводу, что наряду со схожими проблемами существует и множество различных. У каждого свой различный коэффициент жизнеспособности, различный уровень самосознания, различные возможности к сохранению.

У одного народа опорой является его большой естественный природ, у другого — сила традиционной культуры, у иного — существенное расовое отличие от возможного ассимилятора, у иного — вероисповедание (особенно сильный



в наши дни в этом отношении кажется (ислам), у иного — также историческое сознание, которое, к сожалению, зиждется в первую очередь на былом военном могуществе и завоеваниях, у иного — особое уважение к традициям и родословные кланы, у иного — существование близких, отделенных границей соседей, у которых, правда, свои проблемы, но в сознании которых живет возможность взаимной поддержки, у иного — сознательно высокодержимое национальное самосознание и стремление своим культурным творчеством и хозяйственной деятельностью дать ему основание.

Из перечисленных факторов для эстонцев решающий — лишь последний. Это часто несет в себе и напрасное высокомерие, которое иногда может проявиться просто как глупость, но все же такое самосознание — в особенности при слабости остальных факторов — необходимо как условие сохранения нации. Во всяком случае, в этом нет ничего неестественного: повышенная самооценка — признак и предпосылка жизнеспособности каждой сформировавшейся нации.

Таким образом, если спрашивать, что должны делать эстонцы, чтобы сохраниться как нация — и что они стихийно и делали, насколько до сих пор сохранились, — отвечать на это можно весьма кратко: быть сильными в культуре. Если возможно, хоть чуточку сильнее тех, от кого грозит ассимиляция. По меньшей мере, на уровне масс, если это маловероятно на уровне вершин. Означает ли это сразу также духовную силу, — на это однозначно ответить нельзя. Во всяком случае, повышенная самооценка еще не означает духовности. Выразителем духовности может быть вера, у нас ее нет. Выразителем духовности является высокая культура на мировом уровне, а такой мы можем похвалиться лишь в очень редких областях. Несмотря на самосознание, мы плохо умеем себя рекламировать, скорее мы склонны соседом — но и сами собой — пренебрегать, чем похвалить его во имя общего дела.

Выражением духовности может быть стремление к высокой культуре — и это главное, на что мы можем надеяться. Поэтому и так важно сохранение достигнутого, осознание этого для себя и других, в первую очередь — сохранение языка (творчество в языке, в том числе, широкое наличие различного слэнга — признак жизнеспособности языка). Существенны забота при обеспечении собственно-язычного культурного покрытия, о чем шла речь выше, и усилия по ликвидации белых пятен в собственноязычной культуре. Важно действие в культуре, творение. Разумеется, предпосылкой творения является и потребитель (иногда кажется, что культуры предлагается слишком много, нет больше воспринимателя).

Индивидуализм — может быть, порок эстонца, но в нем может таиться и его сила. Благодаря этому, каждый стремится делать ставку на себя, самоуверждаться, и это явно способствует творению культуры. Несомненно положительно также сильное чувство родного дома и влечение к созданию своего очага. Даже превосходить соседа особняком попышнее — значительно лучше, чем поджечь особняк другого, если он попышнее — что у иных является выражением требования к социальному равенству.

Авантюристы были у всех народов; в экстремальных или переходных обстоятельствах они могут принести нации

пользу. В стабилизировавшихся условиях больше пользы от консерваторов. Наверное, эта пропорция у нас была более или менее правильной — ведь каждый народ идет своим путем. Покидание сельских домов тревожит, оживленная строительная деятельность радует. Это — творческая деятельность, она возможна почти на всяком уровне. Соревнование здесь полезно для культуры в целом.

Далее следует остальная хозяйственная деятельность, научное и художественное творчество, стремление сохранить традиции, поиски духовности в собственной истории или отдаленных культурах и переплавление этого в культуру, действующую здесь и теперь. Вероятно, для поднятия самочувствия необходимо и провозглашение сделанного остальному миру.

#### Подводя итоги,

можно сказать, что ассимиляция не приносит большой пользы и самим ассимиляторам. Скорее, вред — и это должно быть вполне ясно видно в современном мире. Калечится культура и язык. Наряду с новыми, возможно, и творчески действующими элементами в ассимилирующей культуре нагромождается множество явлений, которые некуда девать и которые разрушают эту культуру изнутри. Кое-что подобное происходит и с языком: подумайте о множестве вариантов английского языка в разных частях света. Побочным явлением широкого распространения оказывается языковая путаница и обязательно также обеднение.

В мире одновременно произошли и в настоящее время происходят противоположные процессы: как слияния, так и разделения. Иногда это прихоть истории, что решает, как долго кто остается в живых или как скоро изменится и в пределах одной популяции. Но немалое — дело собственных рук. Это означает вечное противопоставление осмысленной деятельности стихийным процессам.

Ассимиляционные процессы в нашей стране сильно увеличили толпу бескоренных людей, которые неспособны к творческой деятельности, как этого требуют сегодняшние лозунги — и как этого всегда требовали сознательные правители. Денационализировавшиеся и маргинальные лица, которые потеряли культуру, увеличивают число алкоголиков и наркоманов, именно они действуют в первых рядах загрязнителей экологических и психических.

История показала, что многонациональные государства, которые ориентируются на насильственное уничтожение различий, на идею единого языка, веры и отечества, увеличили свои и так значительные внутренние трения до такой степени, что это, при совместном действии остальных кризисов, привело к крушению государственных образований.

Деформация первоначальных идей национальной политики от времен революции к настоящему дню явно губительна для государства. Особое звучание это имеет сегодня, когда мы говорим о демократии и децентрализации.

Если нынешние усилия к успеху демократии истинны, тогда надо было бы понимать, что демократизация не может произойти лишь в промышленности или в целях повышения творческих способностей отдельных лиц. Настоящей и действенной демократия может стать лишь в случае, если она пройдет сквозь общество во всех направлениях, будет приемле-

мой и прикладной также в отношении к группам и прежде всего — к народам. Идея равенства и инициативной самостоятельности плодотворна, если она в сознании будет действовать не только в нашей повседневной трудовой деятельности, но и в нашем национальном, культурном и языковом бытии.

Возможность также по нациям, по регионам показать себя, включить себя в подбадривающее соревнование может принести пользу всему государству и в прямом материальном смысле. Вряд ли какой-либо народ пойдет куда-то в творческом порыве, если его национальное самосознание заторможено, если он не может проявлять себя согласно своей национальной самобытности, развивать именно те качества, которые для него традиционно значительны и являются источником его гордости.

Следствием переплавления становится однообразная серая и малоспособная к единой культурной модели ценной разрушения многих традиционных культур. Следствием переплавления получается однообразная серая и малоспособная масса, сплошное пьянство и пренебрежение к родному краю и природе, что так или иначе вырастает в пренебрежение и к своему обществу и государству. Это видно не только у сибирских т. н. палеоазиатов или северо-американских индейцев, упомянутые явления сильно проникли и в те народы, у которых традиционная культура еще относительно сильна.

Я убежден, что, если не будет основательно пересмотрена существующая ныне в действии национальная, культурная и языковая политика, если на самом деле не будет дана возможность всем, и самым меньшим народам самим определять свое бытие, то из сегодняшних усилий перестройки ничего не выйдет, трения будут продолжаться, расходуя энергию общества. Разумная национальная политика во время революции была крайне необходимой, без поддержки малых народов она бы не победила. Порочно было и есть трактовать эту политику как временную, как средство достижения утилитарных целей. Революция всегда пожирала своих детей, но не слишком ли большой кусок — целые народы, этим давились и в прежние времена.

Если нынешнее время хочет быть революционным и боевым не только на словах, оно с полной серьезностью должно считаться с народами, с их стремлениями и достоинством, должно раскрепостить их творческий потенциал. Но это можно сделать лишь путем поднятия национального самосознания, содействия традиционной культуре и делая возможным добровольно принимать новые явления культуры.

Перевела с эстонского  
РУТА КАРМА.

Июнь 1987 г.

\*Looming», 1988 г., № 4, с. 520—527.

† M a t i H i n t . Vaateind kakskeelsusele roosade prillideta. — «Vikerkaar» (Таллин), 1987, № 6, с. 51—56, № 7, с. 46—50.

(Взгляды на двуязычие без розовых очков.) См. также «Родник», 1988, № 8, с. 57—63.

\*\* Rein Ruutsoo. Keelest, kultuurist ja keelebikoloogist. — «Keel ja Kirjandus» (Таллин), 1987, № 10, с. 587—598, № 11, с. 646—654, № 12, с. 716—724. (О языке, культуре и экологии языка.)



ВИЛНИС ЗАРИНЫШ

# ФИЛОСОФИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

## СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Национал-социалистам, чтобы установить монополию в идеологической жизни Германии, мало было так называемого «мировоззрения», состоявшего из общих деклараций, слабо увязанных с реальной действительностью. Идеологи нацизма в статьях и речах высказывали свое отношение и к жизненной конкретике, а также, хотя и весьма бессистемно, к культурному наследию. Эти высказывания, конечно, тоже относятся к идеологии национал-социализма, но надо иметь в виду, что позиция немецких фашистов по конкретным вопросам с так называемым «мировоззрением» почти ничего общего не имеет, внутренним единством и взаимосвязью тут и не пахнет.

Я полагаю, что основной причиной хаотичности и теоретической непоследовательности идей нацистов была неоднородная классовая база национал-социалистического движения. Демагогические соображения не позволяли создать цельное учение. Только неясная теория, скрывающая свою внутреннюю противоречивость под маской волюнтаризма и мистицизма, могла рваться в псевдонародные одежды, и сочетание якобы социалистических мероприятий с фактическим господством крупной буржуазии могло найти идеологическое отражение лишь в такой теории.

Последовательной национал-социалистической идеологии быть не могла также из-за своего компилятивного характера. Отношение немецких фашистов к окружающему миру не было оригинальным, их высказывания по разным вопросам повторяли зады, копировали авторов различных эпох, идеологических и политических течений.

При исследовании внутреннего содержания идеологии нацизма нельзя сбрасывать со счетов, что общеобразовательный уровень и познания его идеологов оставляли желать лучшего. Все они были самоучками в общественных дисциплинах, к тому же обучались бессистемно, на лету, черпали знания, как правило, из популярных брошюр и сочинений популяризаторов всевозможных реакционных доктрин.

Известно, что Гитлер запоем и без всякого выбора читал все, что подвернется под руку, прочитанное моментально усваивал и тотчас в перетолкованном, вульгаризованном виде выдавал за свое, причем открыто гордился способностью упрощать любые, самые сложные идеи. Есть сведения, что он полагал преимуществом свой низкий уровень знаний и даже благодарил судьбу, которая не дала ему возможности получить научное образование. Вражда к интеллигенции пронизывает все труды Гитлера. Она и трусливая, и высокомерная, и склеротичная. Натравливание нацистов на интеллигенцию

было одним из способов установления монополии в духовной жизни. Но этот феномен имел и другой социальный смысл. Господствовавшие в довоенной Германии экономические и политические Германии экономические и политические доктрины пестрели научными или псевдонаучными теориями, с помощью которых была одна — с помощью теоретических спекуляций обосновать капиталистическую эксплуатацию и монархическую форму правления. В результате неудачной войны и нескончаемых хозяйственных потрясений эти доктрины окончательно скомпрометировали себя в глазах народных масс. Массы инстинктивно чужались традиционной идеологии, но при этом, в конкретных условиях Германии, не встали и на позиции революционного марксизма.

Недоверие масс к представителям реакционной интеллигенции нацисты использовали для натравливания простых людей на интеллигентов вообще. По Гитлеру, интеллигенция совершенно выродилась, причем не столько из-за бедности, сколько в результате воспитания. Укоренившаяся в высших слоях исключительно духовная образовательная ориентация делает интеллигенцию абсолютно беспомощной в ту пору, когда решает не дух, а кулак.

Неудачи Германии в первой мировой войне, мол, в значительной степени объясняются тем, что во главе страны стояли чересчур образованные люди (Überbildete Menschen). Бальдур фон Ширах высказывал удовлетворение малообразованностью штурмовиков, так как профессоры, дескать, свергли Германию в беду.

На практике, однако, отношение немецких фашистов к образованию было иным, ведь германская монополистическая буржуазия нуждалась в квалифицированных специалистах, хотя и старалась ограничить просвещение народных масс известными пределами. Исходя из этих требований немецкие фашисты после прихода к власти сохранили всеобщее образование, однако стремились придать ему узко утилитарный характер; срок обучения в средней школе был сокращен с 13 до 12 лет. Накануне окончательного разгрома фашизма А. Розенберг признал, что наряду с массовой пропагандой необходимо и узко специальное изучение проблем, позволяющее соединить инстинкт с сознанием, что облегчает разъяснение народу смысла настоящей войны, когда народ об этом спрашивает.

На оккупированных территориях немецкие фашисты всячески тормозили просветительно-образовательную и научно-теоретическую деятельность; по их замыслу, молодежь поработанных народов должна была являть собой некавали-

фицированную невежественную рабочую силу.

Мозаичность национал-социалистической идеологии во многом объяснялась и индивидуальными чертами и капризами ее адептов, а также исключительно пропагандистскими целями этих идеологических построений. Современники отмечают, что Гитлер часто высказывал идеи по внезапному наитию, но, не имея привычки к систематическому труду, не стремился привести их в какую-либо систему, избегнуть противоречий.

Однако в идеологии национал-социализма обнаруживается и некая общая тенденция, которую можно было бы обозначить как совокупность взглядов определенной политической направленности. Эта совокупность взглядов была сформулирована вполне целенаправленно и активно пропагандировалась. Вместе с тем эта реальность национал-социалистической идеологии существовала как бы вне ее — она проявлялась в попытках монополистов духовно одурманить народные массы, отвлечь их от классовой борьбы и, наоборот, вовлечь в осуществление своих империалистических целей. Это идеологическое «варево» не предназначалось крупной буржуазией для собственного потребления, нет, им следовало «накормить» широкие народные массы — по возможности, разумеется.

В условиях высокой политической активности народных масс правящим кругам было важно, очень важно, чтобы каждый маленький человек (Der kleine Mann) находил в официально пропагандируемой идеологии нечто близкое себе и родное, нечто такое, за что он в случае необходимости был бы готов умереть. Абсурдно поэтому считать, что все высказывания, которые немецкие фашисты пропагандировали от своего имени, были сплошной ложью и беззумынным бредом.

Социальные требования гитлеровцев носили утопический характер, их отношение к ним было предательским, все это верно, но эти требования были заключены в красивые формулировки и неопытным в политике людям могли казаться привлекательными. Многие идеи, почерпнутые гитлеровцами у других авторов, были связаны с реальной действительностью, отражали, пусть односторонне и тенденциозно, объективную реальность. Нацисты охотно прибегали к трудно поддающимся разоблачению средствам фальсификации действительности — непоследовательности в терминологии, выпячиванию несущественных и абсолютно малозначащих фактов, замалчиванию существенных взаимосвязей, далеко идущим выводам из одного или нескольких фактов и т. п.

Вместе с тем наци не стеснялись вбирать в свою идеологию и энергично



проповедовать самую грубую ложь, особенно там, где им не доставало аргументов. Искажение фактов и последовательное игнорирование неблагоприятных научных положений характерны для многих идеологических выкладок национал-социалистов, но это было не главным, и уж никак не единственным, приемом дезориентации, одурачивания народных масс.

Наиболее авторитетными идеологами национал-социализма были А. Гитлер и А. Розенберг. Прочие главным образом повторяли или конкретизировали их мысли. Г. Геринг, Бальдур фон Ширах, Р. Лей очень часто ссылались на вождя, В. Дарре и Г. Гиммлер обычно пользовались тем же арсеналом, что и Розенберг. Во взглядах Гитлера и Розенберга было мало общего, ход их мысли был совершенно различным. Только Геббельс обладал способностью жонглировать над теоретическим хаосом нацистской идеологии, стараясь представить ее как прочный фундамент для пропаганды. Профессиональные идеологические работники обычно выбирали для себя какой-либо узкий круг вопросов. Нео-малтузианство пропагандировал Ганс Гримм, расизм — Адольф Гюнтер, геополитику — Карл Гауссофер и т. п. Тысячи журналистов и пропагандистов на все лады пережевывали концепции ведущих идеологов.

В произведениях Гитлера обычно констатируются или фальсифицируются конкретные факты. Свои мысли по общим вопросам вождь излагал как откровение, не утруждая себя доказательствами, к тому же вопросы ставил почти исключительно в плоскости пропаганды, беспорядочно и бессистемно, без всякой, следовательно, связи со свойствами рассматриваемого предмета.

Принципиальные философские вопросы в трудах Гитлера не ставятся. Читатель может заключить, что у автора, подобно большинству малообразованных людей, нет никаких взглядов на реальное существование объективного мира, но нет и никаких сомнений. Целый ряд явлений природы и общества Гитлер сводит к законам биологии, которые понимает крайне механистично. Некоторые его высказывания по общим вопросам близки к вульгарному материализму, другие же отражают, в более или менее вульгаризированной форме, взгляды философов — субъективистов, идеалистов, виталистов, мистиков и представителей других направлений. Непрестанные ссылки на природу и ее законы отнюдь не свидетельствуют о желании автора постигнуть объективные закономерности, он попросту приписывает природе свои цели и устремления. Говорить о каком-либо определенном мировоззрении Гитлера нет оснований.

В числе многих заимствований Гитлер пропагандировал и такие взгляды, которые, с известными оговорками, можно назвать диалектическими. Так, например, он заявлял, что «нет ничего, что было бы закреплено навечно; что не изменяется, то мертво». «Искать безобидные рецепты (в экономике. — В. З.) — чепуха». «Развитие происходит не по прямой, а по спирали». «Человек всегда должен стремиться превзойти свой предел, как только он останавливается и удовлетворяется достигнутым, он уже начинает дегенерировать и, опускаясь ниже человеческого уровня, приближается к животным».

Подобные высказывания, вносящие в контекст некоторые элементы относительности, не были типичными для национал-социалистической идеологии и, по-видимому, представляли собой одно из проявлений непоследовательности, которыми она столь богата.

О коренных вопросах мировоззрения и миропознания широко и пространно писал А. Розенберг. В отличие от Гитлера он стремился обосновывать свои взгляды, приводил ссылки на многие философские трактаты и литературные сочинения, начиная с древнегреческих и древнегерманских легенд и кончая работами немецких буржуазных идеологов разных течений периода после первой мировой войны.

Идеологическим фундаментом национал-социализма А. Розенберг считал систему знаний и взглядов, а веру. «... Ныне пробуждается новая вера, — утверждал он, — миф крови». Желая, чтобы эта новая религия была крайне националистической, Розенберг старался отбросить все ненемецкие по своему происхождению элементы духовной культуры, и потому отвергал и христианство, и гуманизм, и рационализм и т. п. — словом, почти все элементы духовной культуры Германии XX века<sup>1</sup>. Единственными источниками подлинной мудрости Розенберг признавал древнегерманские сказания — Эдду, а также различных немецких мистиков средневековья, под тем предлогом, что пришла пора черпать воду из самых глубоких колодезев.

Образцом решения важнейших вопросов философии Розенберг считал теоретическую деятельность немецкого мистика, монаха-доминиканца Майстера Экхарта (ок. 1260—1327) — в «Мифе XX века» ему посвящены 60 страниц, на него Розенберг ссылался и в других своих работах.

Вслед за средневековым философом-мистиком Розенберг признавал существование души, утверждал, что нордический человек глубоко верит в извечную законность (*Gesetzlichkeit*) природы, к тому же рассматривает природу как нечто сходное со сверхъестественным (*als Gleichnis eines Übernatürlichen*) и верит в бессмертие.

Слово «душа» Розенберг употреблял довольно непоследовательно, иногда в качестве синонима слова «психическое», иногда же, особенно рассуждая о так называемой «душе расы», характеризовал ее как нечто неосознаемое, проявляющееся в великих личностях связанного кровными узами народа. На вопрос, является ли душа божественной, Розенберг отвечал положительно, но не по существу, указывая, что вера в неповторимость и неизгладимость личности есть признак не только христианских, но и нехристианских нордически-германских мыслителей. Цитируя труды сред-

невековых мистиков, Розенберг нигде не упоминает, что слово «душа» он понимает иначе, нежели эти авторы. Для Майстера Экхарта, со взглядами которого Розенберг полностью солидаризировался, «душа» была исходным пунктом всего его учения, согласно которому цель души — восхождение к самой себе и воссоединение с Богом.

Подобная позиция мистиков, писал Розенберг, требует отрешения от мира как представления, чтобы осознать по возможности полнее внутренне присутствующую нам метафизическую сущность, а поскольку во всей полноте это невозможно, необходимо из идей «Бога» создать новый объект души, с тем чтобы в конце концов провозгласить единую сущность души и Бога.

Однако предпосылкой такого поступка, подчеркивал Розенберг, является свобода души от всех догм, церквей и пап.

Последовательный субъективный идеализм такого рода все же противоречит другим высказываниям Розенберга, так как он не придерживался однозначного толкования термина «Бог». Упомянутый выше Бог мистиков не мог быть христианским, ибо Розенберг усматривал тяжчайшее преступление евреев в том, что они опакостили душу западного человека, превратив демона пустыни в «Бога» Европы. Не мог Он быть и Вотаном либо Одином древнегерманских мифов, так как эти верховные божества должны погибнуть согласно предначертанной им судьбе.

Смешение понятий, употребление одного и того же слова в разных значениях было отнюдь не единственным проявлением непоследовательности теоретического характера в трудах Розенберга. Он без зазрения совести приписывал авторам используемых сочинений свои собственные взгляды или делал совершенно произвольные выводы.

Упомянув проповедь Экхарта о плоти и крови, Розенберг делает далеко идущий вывод: «Наряду с мифом о вечной свободной душе есть миф, религия крови. Одно соответствует другому, и мы не знаем, что здесь причина, а что следствие. Раса и «я», кровь и душа тесно взаимосвязаны, для бастарда учение Майстера Экхарта не годится, как и для той чужеродной помеси рас, которая просочилась с Востока в сердце Европы и составляет наиболее вернопопавший элемент для Рима». Из выраженной Экхартом народной мудрости, что «ни один сосуд не должен содержать в себе два напитка: если нужно наполнить его вином, то следует вылить из него воду до последней капли», или «Не могут все люди идти одним путем», или «Часто то, что для одного жизнь, для другого — смерть», Розенберг, ни больше ни меньше, заключает: вопреки учению римской и, в конечном счете, также витгенбергской церкви, белые люди не могут иметь тот же облик, ту же догму и идти той же дорогой, что желтые и черные, и т. п.

Впрочем, даже столь вольное обращение со взглядами Экхарта и других авторов не приносило нацистскому сочинителю желаемых плодов, и чтобы дать ответ на множество оставшихся без ответа вопросов, он сам измышлял идеи в духе мистиков.

Исходным пунктом теоретизирования чаще всего служило ему не понятие души, как у средневековых мистиков, а уже упомянутая нами фикция — душа

<sup>1</sup> Стремясь к изъятию из культуры всего «ненемецкого», гитлеровцы подчас попадали в довольно неприятные ситуации. Так, например, первоначально, с первых шагов своего движения, они недвусмысленно отдавали предпочтение «древнегерманскому» готическому письму, ограничивая употребление латиницы. Но в январе 1941 г. им пришлось втихомолку повернуть на 180 градусов, ибо историки установили, что готическое письмо произошло от письменности евреев Швабаха (Леон Поляков, Иозеф Вульф. Третий рейх и его мыслители, с. 547).



расы. «Каждая раса, — уверял Розенберг, — имеет свою душу, каждая душа — расу, свою внутреннюю и внешнюю архитеконику, свою характерную форму проявления и выражения стиля жизни, только лишь ей присущее соотношение между силами воли и рассудка».

Со временем душа расы меняет свои внешние проявления, но не сущность, силы ее воли и ценности души по направленности своей, по складу своему остаются теми же. Северная, то есть нордическая, душа — это благородная душа, неизменными и определяющими ценностями которой являются свобода и честь. Подобно монадам Лейбница, души разных рас не имеют точек соприкосновения, никакого моста взаимопонимания между европейцем и китайцем перекинуть нельзя, не говоря уже о сирейских и африканских бастардах.

Несмотря на столь категоричное утверждение, Розенберг смело берет на себя труд охарактеризовать не только нордическую, но и еврейскую расу, то бишь антирасу: «... если умышленно органическая ложь является смертью для нордического человека, то для еврейства она означает жизненную стихию. Если это выразить афоризмом, постоянная ложь является «органической» истиной еврейской антирасы».

На взгляд Розенберга, мерилом всех ценностей, окончательной шкалой их служит не человек, как у древних греков, и не Бог, как у ксендзов, но связанная с расой душа народа. Поскольку сущность ее неизменна, она, по Розенбергу, развиваться не может и уже изначально содержит в себе все свои элементы. «Конечные возможные (letztmögliche) познания данной расы уже содержатся в ее первом религиозном мифе», — утверждал он.

«Но и «наука», — указывает Розенберг, — есть следствие крови. Все, что мы теперь совершенно абстрактно именуют наукой, является результатом германских творческих сил. Это нордически-западная мысль о последовательности событий во вселенной, которую можно объяснить законом... Эта (в иной форме в нордической Элладе возникшая) мысль противостояла на протяжении тысячелетий яростной оппозиции многих чуждых рас и их мировоззрений». «То, что мы сейчас именуем «наукой», — продолжал автор, — является в высшей мере самобытным творением германской расы (ist ureigenste germanische Rassen-schöpfung)... В толковании Розенберга, сжигание еретиков на кострах инквизиции в средневековой Германии означало борьбу мировоззрения чуждых рас с германской западной наукой. Любая философия, выходящая за пределы формальной критики разума, есть не столько познание, сколько признание души и расы (weniger eine Erkenntnis als Bekenntnis; ein seelisches und rassisches Bekenntnis).

Выдвижение «души расы» в центр идеологии происходило главным образом за счет оттеснения разума, ибо разум и логику национал-социалистические идеологи всячески пытались принизить.

Розенберг критиковал тех философов, которые хотели бы выразить фашистское, или, говоря его словами, «близкое народу» мировоззрение, но при этом движутся в своих рассуждениях лишь в логической плоскости рассудка-разума, словно это единственная платформа исследовательской работы человека. Рас-

судок (Verstand) — чисто формальное, а значит, бессодержательное орудие труда, у него единственная задача — выстраивать причинностную цепочку. Посадить его на трон, объявить законодателем — значит покончить с культурой.

Эти утверждения по существу повторяли вывод, который провозгласил Гегель во введении к своей «Науке логики», хотя великий немецкий философ и не пользовался столь преувеличенными формулировками, как «конец культуры». Но если в философии Гегеля возражения против формальной логики стали исходным пунктом глубокого и всестороннего постижения вещей и явлений в их диалектическом развитии, то Розенберг прибегал к тем же выражениям, чтобы свести на нет разум и логику вообще, подменив их собственными концепциями. Розенберг заявил, что перед лицом «новорожденного мировоззрения нашего времени» (национал-социалистического — В. З.) «ниспровергается навсегда как материалистический безрасовый индивидуализм, так и чуждый природе универсализм во всех своих разновидностях...»<sup>1</sup>

Пренебрегая рассудком как средством познания, национал-социалисты не признавали и никакой объективной истины, выведенной в результате логического мышления. Розенберг доказывал невозможность достижения абсолютной истины, но делал из этого вывод, что истина может быть только относительной, хотя это и говорилось не напрямую, а намеком. Он ограничился констатацией того, что и совершенно абстрактные и схоластические идеи выражают желания их создателей или, по меньшей мере, находятся в сфере их интересов.

Поэтому Розенберг нигде не говорил об объективной истине, не признавая ее как абсолютную истину или же отрицая как чуждый природе универсализм.

«Удаляется вся малохольная интеллигентская мусорная куча чисто схематических систем, в которую нас обули, как в испанские сапоги, или собирались переобуть», — продолжал Розенберг. С откровенной враждебностью говорил он об энциклопедистах, которые породили, дескать, духовную пустоту (seelische öde).

Германское познание (die germanische Erkenntnis) пытается природу, учил Розенберг, не цародейством, как поступали в Передней Азии, но и не рассудочными схемами (durch Verstandesschemen), как позднее делало в Греции, а только интимным созерцанием природы (nur durch innigste Naturbeobachtung).

По части борьбы с разумом взгляды Розенберга и Гитлера полностью совпадали. Гитлер тоже осуждал «предыдущее воспитание», основанное единственно на разуме и логике, где жертвуют «остатками естественного инстинкта на алтарь объективности». Столетие разума кончилось, суверенность духа — это патологическая деградация нормальной жизни, указывал Гитлер.

<sup>1</sup> Под материализмом Розенберг, насколько можно судить, имел в виду не диалектику, так как марксизм он ругал гораздо яростнее. Термин «универсализм» означает у него, очевидно, стремление формулировать объективные истины для всего человечества, а не одной расы; это и выпад против неокантианства.

Напротив, как совершенно закономерные употребляет он термины «народная истина», то есть отвечающая интересам немецкого народа в изображении нацистов, или «органическая истина», Розенберг утверждал, что в каждом живом существе (это не надо понимать только в биологическом смысле. — В. З.) скрыта своя органическая истина, которая покоится сама в себе (die organische Wahrheit in sich selbst ruht). Это утверждение напроцуждало всякий объективный критерий и служило трамплином для провозглашения истиной любого произвольного допущения. Истина, говорил Розенберг, имеет две противоположности — кажимость и ложь. В этой связи он не преминул выразить радость, что немецкий язык способен отразить мельчайшие нюансы и все новые сферы субъекта. В действительности детально разработанная на немецком языке философская терминология позволяет без труда обнаружить, что и в этом вопросе Розенберг абсолютно произвольно оперировал философскими понятиями. Еще в начале XIX века Гегель, разрабатывая систему логических категорий, обособленно поместил видимость (кажимость) не рядом с истиной, а оба этих понятия подчинил категории сущности, охарактеризовав видимость как несущественную действительность. Истине Гегель противопоставлял не ложь, а заблуждение.

Утверждать, что истине противопоставляется ложь, а Розенберг утверждал именно это, означало смешивать вопросы познания с моральными проблемами, что в свою очередь служило исходным пунктом для смешения понятий и в других областях.

Критикуя философов, которые бы хотели обосновывать свои теории исходя из «вечной истины», Розенберг фактически отрицал какой бы то ни было объективный критерий истины и призывал заменить абстрактное мышление как средство познания биологизированным национализмом, как он выражался, «... имеет место у с т р а н е н и е с х о л а с т и ч е с к и - г у м а н и с т и ч е с к и - к л а с с и ц и с т с к о г о с х е м а т и з м а в п о л ь з у о р г а н и ч е с к и - р а с о в о - н а р о д н о г о м и р о в о з з р е н и я».

Не признавая объективной истины, немецкие фашисты в качестве главного критерия всякой теории провозглашали ее выгодность и полезность для национал-социализма, иначе говоря, согласно их лексике, для интересов немецкого народа, то есть в этом вопросе становились на позиции прагматизма. «... Немецкий народ, — утверждал Розенберг, — существует не для того, чтобы проливать свою кровь ради защиты какой-либо абстрактной схемы, а как раз наоборот, все схемы, системы мыслей и ценности, на наш взгляд, лишь средство усилить борьбу нации, направленную вовне, и повысить ее внутренние силы справедливой и целенаправленной организацией».

Успех провозгласил главным критерием правильности всякого действия и Г. Гиммлер, выступая перед руководителями СС в Познани 4 октября 1943 года.

И. Геббельс утверждал, что тенденциозность в пропаганде и искусстве — вещь хорошая, если только она «служит народу». Судить о том, служит ли искусство или пропаганда народу, дозволялось, конечно же, одним лишь фашистским чиновникам. Успех в войне, по мнению Геббельса, решает «не только



в отношении победы и поражения, но и в смысле справедливости и несправедливости. Еще не было войны, в которой победитель взял бы на себя вину, а побежденный был бы объявлен невиновным...»

Еще последовательнее проводил прагматическую точку зрения в своих трудах А. Гитлер. Успех, говорил, он, имея в виду политическую деятельность, единственный в этом мире судья, который решает, было ли предпринятое правильным или нет. Изредка, правда, национал-социалисты упоминали и другие критерии оценки правильности или неправильности тех или иных действий, поступков. В качестве одного из таких критериев Гитлер считал гнев врага — он уверял, что наилучшим термометром для определения правильности позиции и действий национал-социалистов является ярость нападок врагов нацизма. Излишне пояснять, что и этот критерий был совершенно субъективным.

Исходной точкой составления всякого плана действий идеологи национал-социализма считали отнюдь не выяснение реальной ситуации и реальных возможностей, но волю участников движения, и особенно его вождей, а подчас и их чувства. Поэтому есть все основания утверждать, что в идеологии национал-социализма содержалось множество элементов волюнтаризма и голый эмоции. 1 мая 1934 года, выступая на массовом митинге на поле Темпельгофа, Гитлер заявил, что воля сильнее народных бедствий, то есть объективной реальности, сказав при этом: «... Как часто объяснял я немецкому народу, что только беспредельная, негибкая перед лицом несчастий воля однажды возьмет верх над бедствиями. Сегодня это знает весь немецкий народ...» Все это, разумеется, было взято с потолка.

Силу воли Гитлер упоминал в качестве решающего условия улучшения внешнеполитического положения Германии.

Важным качеством политического деятеля Гитлер считал отвагу, уверяя, что сердце народа, как и сердце женщины, легче покорит муж, исполненный отваги. Одна лишь воля, по уверению имперского шефа печати Дитриха, создала национал-социалистское движение буквально из ничего.

Это утверждение перекликается с высказываниями блаженного Аврелия Августина (354—430) о том, что Бог создал мир из ничего.

Волюнтаризм во взглядах национал-социалистов тесно соседствовал с фатализмом. Гитлер не раз ссылался на волю Провидения. В фашистской прессе также неоднократно встречались ссылки на смысл миропорядка (*Sinn der Weltordnung*), якобы поставивший перед немцами величественные задачи.

Силы духа (*Kraft des Gemütes*), веру и волю немецкие фашисты изображали куда более важными факторами общественной жизни, а также войны, чем материальные условия.

Значение субъективных факторов, в том числе воли и эмоций, в общественной жизни, разумеется, огромно, никто этого не отрицает. Но национал-социалисты игнорировали все, что в многообразных проявлениях массового сознания было связано с реальными материальными интересами.

Констатируя, что все крупные события мировой истории были осуществлением чаяний миллионов людей, Гитлер полно-

стью умалчивал об источнике этих чаяний — о реальной жизни.

Произвольный, волюнтаристский характер идеологии национал-социализма с чрезвычайной отчетливостью обнаруживал себя в вопросах морали. С одной стороны, идеологи немецкого фашизма стремились положить в основание своего учения ряд формул этики, а с другой — в их практической деятельности и в тех высказываниях, которые относились к чисто практическим вопросам жизни, преобладал абсолютный аморализм, готовность на самые чудовищные преступления для воплощения своих эгоистических целей. Здесь конкретно проявлялась декларация вождей этого движения — долой традиционную мораль всех классов, высшими моральными ценностями являются произвольно сочиненные (нередко преступные по своему характеру) концепции. Национал-социалисты отменяли мысль о том, что мораль каким-то образом связана с реальной жизнью, ибо, как утверждал Альфред Розенберг, «... честь и свобода в своем крайнем выражении являются отнюдь не внешними свойствами, а такими данностями, которые не связаны со временем и пространством (*Zeit-und raumlose Wesenheiten*)».

По вопросам морали идеология национал-социализма вступила в конфликт с христианской религией, ибо, хотя оба этих течения и отвергали мысль о морали как форме общественного сознания, складывающейся в результате влияния реальных жизненных условий, но в то время как идеологи христианской церкви источником всех моральных ценностей полагают Бога, большинство национал-социалистов, и в первую очередь Розенберг, считали таковым наследственность и расу.

Полемизируя с католиками, Розенберг, стоявший на почве традиционной морали варварских племен, провозглашал, что не только положительные герои германских легенд и мифов, но и упомянутый в сказании о Нибелунгах убийца Зигфрида Гаген в моральном отношении несравненно выше апостола Петра. Гаген убил Зигфрида, выполняя свой долг вассала, и позже, в боях с гуннами, погиб как герой, в то время как болтливый апостол Петр трижды отрекся от своего господина.

Среди идеологов национал-социализма не было единства взглядов по вопросу о критерии ценностей. Большинство ведущих наци пропагандировало мысль, что высшим добром и мерой всех ценностей является... Адольф Гитлер, но существовали и другие мнения. А. Розенберг и сам Гитлер неоднократно утверждали, что высшей ценностью и мерилом всех ценностей вообще является национальная честь.

Из индивидуальных свойств морального характера национал-социалисты больше всего прославляли отвагу, способность к самопожертвованию и дисциплинированность — иными словами, те качества, которые весьма важны на войне. К таким же свойствам человеческой натуры, как честность, трудолюбие, жажда знаний и т. п., имеющим непреходящее значение в условиях мирной жизни, идеологи национал-социализма относились весьма сдержанно, заявляя, что подобные качества никак не способствуют улучшению благосостояния немецкого народа. Генрих Гиммлер в речи 4 октября 1943 года провозгласил высши-

ми моральными устоями членов СС верность, послушание и мужество. Он требовал от эсэсовцев честного и добропорядочного отношения к соплеменникам, но уж не к представителями других народов. В то же время он призывал хладнокровно убивать всех тех немцев, кто противится «воле к победе».

На заключительном этапе войны в фашистской пропаганде зазвучали новые нотки — куда чаще похвал мужеству воинов гитлеровской армии стали раздаваться сетования на «варваров», несущих с собой угрозу «западной культуре». «Зверинная дикость примитивной расы», — вещал Й. Геббельс, — в сочетании с террористическими теориями и практикой жизнеотрицающего в своей глубочайшей сущности учения и мировоззрения обрушилась на нас, и трудно даже представить, к каким последствиям может привести потеря нашей способности к сопротивлению для нашей страны, для Европы и, строго говоря, для всего западного человечества».

В практической политике национал-социалисты не считались ни с какими моральными нормами и традициями, а в обоснование такого произвола приводили аргумент об интересах народа. Чистейшая иезуитская формула — цель оправдывает средства. «... Когда народы борются за свое существование на этой планете и при этом возникает роковой вопрос — быть или не быть, то все соображения о гуманности и эстетике рассыпаются в прах, потому что все эти представления не реют в мировом эфире, а порождаются фантазией человека и с нею связаны», — писал Гитлер. И продолжал: «Наиболее жестокое оружие являлось гуманным тогда, когда оно обуславливало наискорейшую победу, и прекрасными были лишь те методы, которые помогли нации обеспечить достоинство и свободу». Он ссылался на Мольтке, говорившего, что во время войны гуманность выражается в быстротечности процесса, а чтобы ее достигнуть, необходимы самые безжалостные средства.

В кругу ближайших соратников Гитлер еще чаще высказывался насчет моральных принципов, заверяя, между прочим, что «тот, у кого совсем нет желания быть беспощадным, ничего не достигнет...» «... Наша тропа в грязи. Но я не знаю никого, кто не замарал бы ног, идя дорогой славы. Заботу о незапятнанных сорочках и белоснежных жилетах мы оставим нашим наследникам».

Даже некоторые ведущие гитлеровцы вынуждены были констатировать деморализацию широких слоев немецкого народа в результате господства фашизма. Так, например, в дневнике Розенберга высказываются опасения, что немецкий народ вскоре будет интересоваться лишь хлебом и зрелищами, подобно обитателям древнего Рима.

Однако подобные опасения ничуть не влияли на практическую политику гитлеровцев, ибо для реализации их преступных планов им нужны были люди с деформированной или притупленной моралью.

Важнейшим моральным качеством, которое необходимо привить немецкому народу, Гитлер считал фанатическую ненависть ко всем идеологическим и политическим течениям, которые отличаются от немецкого фашизма, поскольку лишь фанатичная вера в необходимость



победы рождает убежденность в правомерности использования самых жестоких средств для торжества над врагом.

Теоретическая непоследовательность идеологии национал-социализма и отсутствие дисциплины мысли часто проявлялись в подмене научных терминов публицистическими штампами и ругательствами, которым придавалось терминологическое значение. Отступления от общепринятой терминологии при рассмотрении философских вопросов и проблем общественной жизни встречались еще в трудах ряда реакционных немецких философов XIX века. Так, например, сестра Фридриха Ницше (1844—1900) Элизабет Форстер Ницше в предисловии к его книге «Воля к власти» (1889) отмечала, что в сочинениях брата прослеживается тенденция подбирать в разительные слова, он отдает предпочтение словам с военным значением и заменителям философских терминов. Но если Ф. Ницше придерживался строгой последовательности в употреблении заменителей философских терминов, то в трудах идеологов национал-социализма господствовал безудержный произвол. Всюду, где им не хватало аргументов, — а такие случаи бывали весьма часто — в ход шли ругательства или приклеивание оскорбительных ярлыков своим противникам. Так, Розенберг применял в значении терминов следующие разнообразного характера словосочетания: ученые невежды, недочеловеки (о чешских таборитах), римско-еврейские церковные учения, марксистско-либеральные силы, нордическое бытие (*nordische Dasein*), германская субстанция и т. д. и т. п. Сотрудники армейских и оккупационных учреждений часто пользовались словосочетанием «большевистско-еврейские недочеловеки». Еще шире национал-социалисты применяли такие псевдонаучные термины, как «высшая раса», «жизненное пространство», «национал-социалистическая революция» и многие другие. В то же время Розенберг яростно нападал на целый ряд общезвестных терминов, объясняя их «еврейскими»: «... И даже когда евреи «отступники» отменили Иегову, они поставили на его место ту же сущность под другим названием, которая стала именоваться «человечество», «свобода», «либерализм», «класс». Повсюду из этих идей возник старейший и косный Иегова и продолжал муштроваться под другими обозначениями своих гренадеров...»

Внедрение в немецкий язык понятий, выработанных другими расами, заявляли фашисты, является духовным осквернением немецкой расы, вот она, причина взаимонепонимания и классовой борьбы между немцами. «... когда еврей употребляет слова о «социальном равенстве», — писал Розенберг, — он подразумевал лишь создание общественной ситуации, которая позволяла ему следовать своим прирожденным инстинктам, когда он говорил о справедливости, то понимал под этим правовое положение, которое делало для него возможным эксплуатацию народа, среди которого он жил. Слово «свобода» в еврейских устах означало то же самое в экономической сфере: попытку упразднить неизменно сочетающуюся с германским понятием свободы внутреннюю связь с понятием долга и характерными заповедями».

Отметим, что труды философов, приз-

нававшихся национал-социалистами, далеко не во всем совпадали с концепциями гитлеровцев. Так, например, среди многих высказываний того же Майстера Экхарта, цитированного Розенбергом, можно найти и такие сентенции, в которых этот средневековый философ-монах хвалит разуму и свободе человеческой воли, то есть именно тем духовным качествам и способностям, на которые нацисты нападали с особой яростью и которых больше всего опасались. И хотя Розенберг призвал превратить Майстера Экхарта в немецкого апостола, даже такой апостол мог служить ему лишь как источник произвольно надерганных цитат.

Чтобы разглядеть теоретическую дешевизну, внутреннюю противоречивость и прямую фальсификацию, которые отличают идеологию национал-социализма, не нужны ни талант исследователя, ни какие-то особые знания. Закономерно поэтому задать вопрос: каким же образом значительная часть народа, который Ф. Энгельс в свое время назвал самым теоретическим народом Европы, могла в течение двенадцати лет послушно следовать этой идеологии, систематически читать труды ее проповедников, придерживаться ее рекомендаций в повседневной жизни и во имя этих идей обрекать на смерть миллионы своих соплеменников и миллионы людей других наций.

Ответ на этот вопрос частично заключается в уже упоминавшемся нами физическом и духовном терроре, к которому широко прибегали гитлеровцы, а также в их систематическом стремлении добиться полной монополии своей идеологии. Укоренение в повседневной жизни и в учебных заведениях порядков военной диктатуры и принципа вождизма не оставляло места для творческого обмена мнениями, плюрализма, теоретических дискуссий, а громкие вопли ликования и согласия, организуемые повсюду, где провозглашалась и проповедовалась национал-социалистическая идеология, заглушали любые проявления сомнения или критики.

Немецкие фашисты стремились подавить человеческую индивидуальность, низвести людей до уровня верноподданных, лишенных какой бы то ни было политической или теоретической инициативы. Психология верноподданничества, мастерски изображенная Генрихом Манном в романе «Верноподданный», имела многолетние традиции в мешанском сословии Германии. Фашистский режим с помощью всевозможных средств распространял эту психологию во всех слоях общества.

Наряду с традиционными средствами притупления сознания народных масс национал-социалисты прибегали к различным приемам, направленным на то, чтобы вызвать явления массового психоза. Немецкие фашисты всечески старались распространить мнение об уникальности переживаемой эпохи в мировой истории, иллюзии, что гитлеризм является единственной общественной силой, способной спасти народ от ужасающих бедствий.

Фашисты Германии стремились внедрить в быт элементы дрессировки, например гитлеровское приветствие, а также фетишизировать отдельных лиц и предметы, насаждать кумиров и фетиши. Особую роль в фанатизации масс отводилась так называемому знамени крови

(*Blutfahne*). С этим знаменем в руках погиб участник мюнхенского путча 9 ноября 1923 года Андреас Баурюдль, гитлеровцы впоследствии использовали этот символ в различных мистических ритуалах. Освящая знамена вновь сформированных фашистских штурмовых отрядов, Гитлер на мгновение прикладывал штандарты к знамени крови. Настроениями тревоги, переживанию ситуации опасности, мистерии крови в расистской форме, знамени крови и личности Гитлера-вождя имели в немецком фашизме функцию отвлечения народных масс от реальной жизни, перевода их духовной активности в иррациональную плоскость.

А. Розенберг призвал сделать весь немецкий народ соучастником гигантской мистерии, в которой обрел бы новую жизнь ток древней германской крови, мудрость старины и зазеленел миф Эдды: «Созерцание мира, основанное на собственном опыте и исполненное мудрости, а также органическое самосовершенствование означают факт переживания того течения крови, которое объединяет древнегерманских поэтов, великих мыслителей и художников, немецких государственных деятелей и полководцев. Это наиболее глубокая жизненная мудрость и мифическое новое переживание древнего содержания истины, когда мы Майстера Гильдебранда ставим рядом с Майстером Экхартом и Фридрихом Единственным и крайней возможной границы достигают пределы нашей души, когда миф о Бальдуре или о Зигфриде оказывается тождественным сущности немецкого солдата в 1914 году, и миф Эдды, который стал снова зеленеть, после гибели древних богов для нас означает возрождение немецкой нации из хаоса современности».

Как отмечал прогрессивный французский публицист Жак Леклерк, «... нацистское отравление: сделать из человека актера, освободить его от повседневной сущности, чтобы превратить его всего лишь в пассивное существо, ожидающее, подобно актеру, предоставления ему места и роли».

Отсюда вытекает необходимость декоративного внешнего оформления в массовом масштабе, боевых знамен и геометрии. Возобновляются античные олимпийские игры, посвященные героям, людям-богам, новым воплощением которых является Гитлер...»

Надо иметь в виду и субъективные факторы, которые ослабляли активность идеологических противников национал-социализма. Значительная часть буржуазной интеллигенции Германии, прекрасно отдававшая себе отчет в теоретической малоценности национал-социализма, не вела с ним борьбу не только из страха перед репрессиями, но и потому, что просто-напросто хотела стабильной политической власти, а какой — ей было безразлично. Уязвленным в своей национальной гордости обывателям, тяжело страдавшим от нестабильности политической и хозяйственной жизни в пору Веймарской республики, национал-социализм вполне мог представляться жизнеспособной и боевой идеологией, которой по плечу мобилизовать немецкий народ на большие свершения. Именно поэтому они предпочитали примкнуть к нацизму — в силу своих политических симпатий или иллюзий, а не в результате размышлений относительно обоснованности этой идеологии.





# ЛЕОНИД ДОБЫЧИН ГОРОД ЭН

Переждав ее, я побежал. Мадам Гениг стояла у дерева и подстерегала меня. — Я смотрела, — загородив мне дорогу, сказала она, — во дворе, как развешивают там ваше белье. Все такое хорошее, и всего очень много. — Она попыталась схватить меня за руку. — Если бы, — томно вздохнув, заглянула она мне в глаза, — дети Шустера были как вы.

Из-за задержек я прибежал с опозданием. На месте свиданья я увидел Агату. — Прекрасно, — подумал я. — Пусть она смотрит и после расскажет обо всем Надали.

Она ерзала, сидя на лавочке, и вытаращивалась. Проходил Митрофанов. Я с ним поболтал. Он сказал мне, что уже не вернется к нам в школу и будет учиться в коммерческом. Я понимал, что ему не должно быть удобно у нас после тех разговоров, которые у него состоялись с отцом Николаем на исповеди. Я подумал, довольным, что я никогда не поймался бы так. Я огля-

делся еще раз. Агата вскочила и села опять. Я пошел с Митрофановым. Дама, по приглашению которой я прибыл сюда, очевидно, не дождалась меня. Было досадно.

Простясь с Митрофановым, я возвращался по дамбе. Звонили в церквах. Громяхая, катили навстречу мне ассенизаторы. Я удивился, узнав среди них того Осипа, что когда-то учился со мной у Горшковой. Он тоже заметил меня, но не стал со мной кланяться. Первым же я в этот вечер не захотел поклониться ему.

В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей на голову, оборвавшись, упал медный окорок, и она умерла на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял с ней у входа в колбасную.

Похороны были очень торжественны. Шел полицейский и заставлял снимать шапки. Потом ехал пастор. За дрогами первым был Штраус. Его вели под-руки Йозес (рояли) и Ютт. Дальше шли мадам Ютт, мадам Йозес и Бонинша, явившаяся из местечка. Затем начиналась толпа. В ней был Пфердхен, Закс (спички), Бодревич,

(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 10)



Шмидт, Грилихес (кожа), отец Митрофанова. В кирхе звонили. Печальный, я смотрел из окна. Я представил себе, что, быть может, когда-нибудь так повезут Натали, и, как Шмидту сегодня, мне место окажется сзади, среди посторонних.

26

На молебне Андрей встал со мной. Я доволен был, что не чувствую никакого интереса к нему. Приосанившись, я стоял независимо. — Двое и птица, — сказал он мне и показал головой на алтарь, где висело изображение «троицы». Я не ответил ему.

Когда мы расходились, меня задержал в коридоре директор. Он мне предложил поступить в наблюдатели метеорологической станции. Он пояснил мне, что таких «наблюдателей» освобождают от платы. Смотри ему на бороду, я представил себе, как войду и не с первого слова объявлю эту новость маман. Он сказал мне, что Гвоздев, шестиклассник, покажет мне, что и как надо делать.

Взволнованный, как всегда перед новым знакомством, я ждал своей встречи с Гвоздевым. — Не он ли, — говорил я себе, — этот Мышкин, которого я все время ищу?

На другой день он утром забежал ко мне в класс. Он был юркий и щупленький, черноволосый, с зеленоватыми глазками. Мы сговорились, что вечером я с ним пойду.

Этот вечер был похож на весенний. Деревья раскачивались. Теплый ветер дул. Быстро летели клоки рыхлых тучек, и звезды блестели сквозь них. Запах леса иногда проносился. Гвоздев меня ждал на углу. Я сказал ему: — Здравствуйте, — и мне понравился голос, которым я это сказал: он был низкий, солидный, не такой, как всегда.

По дороге Гвоздев рассказал мне кое-что из учительской жизни и из жизни Иван-Моисеича и мадам Головневой. Про каждого ему что-нибудь было известно. Я радостный слушал его.

Незаметно мы дошли до училища. Было темно внутри. Дверь завизжала и громко захлопнулась. Гулко звучали шаги. Слабый свет проникал в окна с улицы. Молча сидели на ларе сторожа, и концы их сигарок светились. Гвоздев чиркал спичками «Закс». Из «физического кабинета» мы достали фонарик и книжку для записей. К флюгеру мы полезли на крышу. Люк был огорожен перилами. Мы постояли у них и послушали, как галдят на бульваре внизу.

Возвращаясь, мы шли мимо Ютта. Фонарь освещал барельеф возле входа, изображавший сову, и Гвоздев сообщил мне, что все украшения этого дома придуманы нашим учителем чистописания и рисования Сеппом. Он мне рассказал, что Сепп, Ютт и учитель немецкого Матц происходят из Дерпта. По праздникам они пьют втроем пиво, поют по-эстонски и пляшут.

Прощаясь, он меня попросил, чтобы я познакомил его с Грегуаром. — «Гвоздев», — на мотив «мел, гвоздей» напевал я, оставшись один, — «дорогой мой Гвоздев».

Я обдумал, о чем говорить с ним при будущих встречах, прочел для примера разговоры Подростка с Версиловым и просмотрел «Катехизис», чтобы вспомнить смешные места.

Но беседа, к которой я так подготовился, не состоялась. Назавтра Гвоздев подошел ко мне на «перемене». На куртке у него сидел клоп. Это расхолодило меня.

Я представил Гвоздева Софронычеву, и они подружись, и даже Грегуар записал это в свой «Календарь». Он оставил его один раз на окне в коридоре, и там он попался мне. Я приоткрыл его. — «Самое, — увидел я надпись, — любимое:

книга — «Балакирев»,  
песня — «По Волге»,  
герои — Суворов и Скобелев,  
друг — Н. Гвоздев».

Этой осенью я не ходил на кондратьевские именины. — Мне задано много уроков, — сказал я, — и кроме того мне придется бежать еще на «наблюдение».

Стали морозы. Маман мне купила коньки и велела, чтобы я взял себе абонемент на каток. — Хорошо для здоровья, — сказала она мне. Я знал, что она это вычитала из статьи про пятнадцатилетних, которую летом ей прислала Карманова.

Я брал коньки и, позвякивая, выходил с ними, но не катался на них, а ходил по реке к повороту, откуда видны были Шавские Дрожки вдаль, или в Гриву Земгальскую, где была церковь, в которой когда-то венчалась А. Л.

Возвращаясь оттуда, я иногда заходил на каток. Там играл на эстраде управляемый капельмейстером Шмидтом оркестр. Гудели и горели лиловым огнем фонари. Конькобежцы неслись вдоль ограды из елок. Усевшись на спинки скамеек, покачивались и вели разговоры под музыку зрители. Я находил Натали и смотрел на нее. Раскрасневшаяся, она мчалась по льду с Грегуаром. Схватясь за Гвоздева, Агата, коротенькая, приналегала и не отставала от них. Карл Пфердхен, красуясь, скользил внутри круга, проделывая разные штуки и вдруг замирал, приподняв одну ногу и распростирая объятия. Бледная, с огненным носом, Агата упускала друзей и все чаще начинала мелькать одиноко и устремлять на меня выразительный взгляд.

Я заметил там одну девочку в синем пальто. Когда я появлялся, она принималась вертеться поблизости. Раз она стала бросать в меня снегом. Не зная, как быть, я в смятении встал и удалился величественно.

Как всегда, на рождественских праздниках состоялся студенческий бал. Я пошел туда — с «почты амура» я надеялся получить, как всегда, письмо.

В гимнастическом зале, как в лесу, пахло елками. Между печами, блистающий, был расположен оркестр. Евстигнеева пела, тшедушная, встав на подмостках во фронт. Было все как всегда. Нехватало одной мадам Штраус.

Стефания незаметно подкралась ко мне. — Сколько времени мы не встречались, — сказала она, и, схватив меня за руку, стала трясти ее. Тут подоспела девица, которая, мечая в меня снегом, напала на меня один раз на катке, и Стефания ее мне представила. — Жаждет, — пояснила она, — познакомиться с вами. Просила меня еще в прошлом году, но вы тогда вдруг испарились. — Девица кивала, чтобы подтвердить это. Крепенская, она была рыжая, с «греческим» носом и узкими глазами. Звали ее, оказалось: Луиза Кугенау-Петрошка.

27

— Ну, я исчезаю, — сказала Стефания. С ужимками она показала ладонь, по-куриному, боком, взглянула на нас и шмыгнула куда-то. Луиза осталась, сияющая. Мы прошли с ней вдоль вешалок и сообщили друг другу, какие у нас по какому предмету отметки.

От вешалок она повлекла меня в зал. Там, с скрещенными около груди руками, кавалеры и дамы ногами выделяли кренделя и скакали по кругу, отплясывая «хивату». Припрыгивая, они боком отходили один от другого в противоположные стороны и, возвращаясь, сходились опять.

Натали в двух шагах от меня пронеслась с Либерманом. Она была счастлива. Глазки ее — они были коричневые — были подняты наискось влево. Ее волосы, как у взрослой напложенные, были взбиты, и в них была сунута фиалка.

Мне подали с «почты амура» письмо. В нем написано было: «Ого!» — и я вспомнил заметки Кондратьева на «Заратустре».

Луиза училась в «гимназии Брун» и свела меня с разными ученицами этой гимназии. Большею частью они были не в первый уже раз второгодницы и девицы



в годах. Бродя толпами, все свое время они проводили обычно на воздухе. Я каждый вечер, примкнув к ним, старался увлечь их в места, на которых могла бы встретиться нам Натали. Я узнал, что она ходит к «залу для свадеб и балов» Абрагама, где дамба сворачивает и оттуда любуется вместе с Софронычевыми кометой. Я стал заводить своих спутниц туда и, притопывая, чтобы ноги не мерзли, стоять с ними там и рассуждать о комете. Они ее видели, мне же ее почему-то ни разу не удалось разглядеть.

От Кармановых мы получили открытку. Они предлагали мне съездить на масленицу посмотреть, что за город Москва. Мы решили, что я могу съездить. Маман подала заявление, и мне прислали бесплатный билет.

Я приехал в Москву в полуоттепель. В воздухе было туманно, как в прачечной. Тучи висели. — Арбат, дом Чулкова, — сказал я, садясь один в сани. Большие дома попадались кое-где рядом с хибарками, и боковые их стены расписаны были адресами гостиниц. Поблизости где-то раздавались звонки электрической конки. Блестя куполами, стояли разноцветные церкви. Крестьясь возле них, мужики среди улицы кланялись в землю.

Извозчик свернул, и мы стали тащиться за занимавшими всю ширину переулка возами с пенькой. Там мне встретила Ольга Кускова. Мы ахнули. Я соскочил, и она, объявив мне, что я возмужал, обещала явиться к Кармановым.

Серж растолстел. Его рот стал мясистым, и около губ его уже что-то темнелось. Карманова, протерев краем кофты пенсне, с интересом на меня посмотрела, и я постарался, чтобы у меня в это время был «непроницаемый вид».

На столе я увидел фотографию, прикрытую толстым стеклом: рядом с мужем, обставленная симметрично троими детьми, Софи, грузная, с скучным лицом, опирается на баллюстраду, обитую плюшем с помпончиками. — Кто сказал бы, — подумал я с грустью, — что это она так недавно, прекрасная, распростиралась у ног Либермана, играя с ним в драме, и так потрясала присутствующих, ломая перед ним свои руки, в то время, как он, отшатнувшись, стоял неприступный, как будто Христос на картинке, называемый «Нбли ме тангерех»?

Серж показал мне журнальчики «Сатирикон». Я еще никогда их не видел. Они чрезвычайно понравились мне, и мне жаль было оторваться от них, когда Серж стал тащить меня осматривать город.

Мы вышли. — Известно вам, Серж, — спросил я, когда мы отделились от дома Чулкова, — что ваша мамахен прислала моей сочинение об опасностях нашего возраста? — Серж посмеялся. — Она вообще, — сказал он, — аматёрша клубнички. — Он мне рассказал, что она (по-французски, чтобы он не прочел) усаждает себя, например, Мопассанчиком. — Это, — спросил я его, — приличная книга? — и он подмигнул мне.

Когда мы вернулись, он мне показал эту книгу. Она называлась «Юн ви». Переплет ее был обернут газетой, в которой напечатано было, что вот, наконец-то, и в Турции нет уже абсолютизма и можно сказать, что теперь все державы Европы — конституционные.

Вечером Ольга Кускова была, рассказала нам случай из жизни одного лихача и сказала: что, кажется, скоро Белугины переведут в Петербург. Я и Серж проводили ее, и она сообщила нам, как всего легче найти ее дом: после вывески «Чайная лавка и двор для извозчиков» надо свернуть и идти до «двора для извозчиков с дачею чая». Она мне шепнула украдкой, что завтра будет ждать меня в сумерки.

Мы распростились. На встречу мне с Сержем по переулку проехала барыня на вороных лошадях и с солдатом на козлах. — Серж, помнишь, — сказал я, — когда-то ты научил меня песенке о мадаме Фу-фу. — Мы приятно настроились, вспомнили кое-о-чем. О той дружбе, которая прежде была между нами, мы не вспоминали.

Назавтра у Кармановых были блины, и мне лень было

после них идти к Ольге Кусковой. На следующий после этого день я уехал. С извозчика я увидел Большую Медведицу. — Миленская, — прошептал я ей: чем-то она мне показалась похожей на фиалку, которую я однажды заметил в волосах Натали.

28

— Моя мама, — сказала Луиза, — хотела бы, чтобы вы мне давали уроки, — и мы говорились, что завтра из школы я заверну в «кабинет», а мадам Кугенау-Петрошка меня примет без очереди. Я обдумал, что делать с деньгами, которые я буду с нее получать.

По дороге попрыгивали и попивали из луж воробы. На бульваре вокруг каждого дерева витаяло и был виден коричневый с прошлогодними листьями дерн. Золоченые буквы блестели на вывесках. Около входа в подвал стоял шест с клоком ваты, и ваточница в черной бархатной шляпе с пером, освещенная солнцем, сидела на стуле, покачивалась и руками в перчатках вязала чулок. На углу, за которым жила Кугенау-Петрошка, меня догнала возвращавшаяся из гимназии Агата. Она потихоньку вошла за мной в сени и посмотрела, к кому я иду.

Кугенау-Петрошка впустила меня и, усадив, сама села, кокетливая, в зубообразное кресло. Лицо у нее было пудренное, с одутловатостями, а волосы — подпаленные. Щурясь, как когда-то Горшкова, она принялась торговаться со мной. — Это принято уж, — говорила она, — что знакомым бывает уступочка. — Разочарованный, выйдя, я похвалил себя, что не похвастался раньше, чем следует, перед маман.

Лед раскис на катке. Стало модным иметь в руке вербочку. С гвалтом, подгоняемые подметальщиками, побежали по краям тротуаров ручьи. — Шепка лезет на щепку, — хихикая, стали говорить кавалеры.

Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя. В школе устроен был акт. За обедней отец Николай прочел проповедь. В ней он советовал нам подражать «Гоголю как сыну церкви». Потом он служил панихиду. Затем мы спустились в гимнастический зал. Там директор, цитируя «Тройку», сказал кое-что. Семиклассники произносили отрывки. Учитель словесности декламировал оду, которую сам сочинил. Потом певчие спели ее.

Я был тронут. Я думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминая свое детство.

Во время экзаменов к нам прикатил «попечитель учебного округа», и я видел его в коридоре. Он был сухопарый и черный, с злодейской бородкой, как жулик на обложке одного «Пинкертона», называвшегося «Злой рок шахт Виктория». Он провалил третью часть шестиклассников. Осенью я должен был встретиться с ними. Могло приключиться, что я подружусь с кем-нибудь из них.

Снова я ходил каждый день на плоты. Я читал там «Мольера», которого мне посоветовал библиотекарь. А вечером я по привычке слонялся с ученицами Брун. Нам встречалась Луиза с своим новым другом. Ко мне она относилась теперь сатирически и звала меня выжигую, влюблена же была теперь в ученика городского училища. Это было не принято у гимназисток, и все порицали ее.

Иногда, записав «наблюдение», я задерживался на училищной крыше. Я слушал, как шумят на бульваре гуляющие. Я смотрел на оставшуюся от заката зарю, на которой чернелись замысловатые трубы аптеки, и думал, что, может быть, в эту минуту магистр пьет пиво и радуется, наслаждаясь приязнью друзей.

Фрау Анна, приехав однажды, сказала нам, что А. Л. теперь после обеда, одна, каждый день удаляется на гору и остается там до появления звезд, размышляя о том, как составить свое завещание.

Маман меня стала возить в Свенту-Гуру. В столовой у А. Л. я заметил картинку, которая показалась мне очень приятной. На ней была нарисована «Тайная вечеря». Я посмотрел, как фамилия художника, и она оказалась



«да Винчи». Я вспомнил картины, которые видел в Москве в галерее, и Сержа, восхищавшегося Иоанном IV, который над трупом убитого сына выкатывает невероятно глаза.

Оба мальчика, Сурир и фон Бонин, вертелись попрежнему возле А. Л. Они первые занимали гамак у крыльца и места на диванах в гостиной. Маман говорила о них, что они очень плохо воспитаны.

Раз я, бродя в конце дня, взошел на гору и наскочил на А. Л. Она, скрючась, сидела на кочечке, в шляпе с шарфом, и, старенькая, подпершись кулаком, что-то думала, глядя вниз, где был виден палац. Незамеченный, я ее пробовал издали гипнотизировать, чтобы она свои деньги оставила мне.

От Кармановой мы получили письмо. Оно было какое-то толстое, и можно было подумать, что в нем есть что-нибудь нежелательное. Я расклеил его. В нем написано было, что Ольга Кускова сейчас в Евпатории и Серж начал «жить» с ней, что «раз у него уж такой темперамент, то пусть лучше с ней, чем бог знает с кем», и что Карманова даже делает ей иногда небольшие подарки.

— Серж любит публичность, — сказал я себе и приподнял перед зеркалом брови.

Маман, распечатав письмо, перечла его несколько раз. Она снова принялась за обедом и ужином искоса уставлять на меня «проницательный взгляд». Я боялся, что она вдруг решится и начнет говорить что-нибудь из «Опасного возраста». Я избегал оставаться с ней, а оставаясь, старался все время трещать языком, чтобы ей было некогда вставить словечко.

Я был с ней на Уточкине. Мы впервые увидели аэроплан. Отделясь от земли, он, жужжа, поднялся и раз десять описал большой круг. Пораженные, мы были страшно довольны.

Домой я вернулся один, потому что маман то и дело замечала знакомых и с ними задерживалась. Оживленная, придя после меня, она стала ругать мне какого-то «кандидата на судебные должности», у которого умер отец, а он запер его и всю ночь, как ни в чем не бывало, прогулял в Шавских Дрожках. Тогда я сказал ей, что «это естественно, так как противно сидеть в одном помещении с трупом». Внезапно она стала рыдать и выкрикивать, что теперь поняла, чего ждать от меня.

Целый месяц потом, посмотрев на меня, она вытирала глаза и вздыхала. Это было бессмысленно и возмущало меня.

29

Я думал об Ольге Кусковой, и мне было жаль ее. Неповоротливая, она мне, когда я их обоих не видел, напоминала Софи. Так недавно еще в Шавских Дрожках, одетая в полукороткое платье, она рисовала нам «девушку боксом, в малороссийском костюме». В лесу возле «линии», пылая, когда проезжали «каратели», она грозила им вслед кулаком.

Приближался «молебен». С своими приятельницами я грустил, что кончается лето. Однажды стоял серый день, рано стало темно, дождь закапал, и мы разошлись, едва встретясь. Прощаясь со мной, Катя Голубева положила мне в руку каштан. Он был гладенький, было приятно держать его. Тихо покапывало. В темноте пахло тополем. Я не вошел сразу в дом, завернул в палисадник и сел на скамью. Наши окна, освещенные, были открыты. Маман принимала Кондратьеву, и неожиданно я услышал интересные вещи.

На Уточкине, где маман была в шляпе, украшенной виноградной кистью и перьями, был полковник в отставке Писцов, и маман на него произвела впечатление. Он подослал к ней Ивановну, отставную монахиню, — ту, которой Кондратьева в прошлом году отдавала стегать одеяла, — и спрашивала, как бы маман отнеслась к нему, если бы он прибыл к ней с предложением. — Благода-

рите, — сказала маман, — господина Писцова, но я посвятила себя воспитанию сына и уже не живу для себя.

Я услышал, как она стала всхлипывать и говорить, что родители жертвуют всем и не видят от детей благодарности. — Трудно представить себе, — зарыдала она, — до чего оскорбительна бывает их черствость.

С тех пор я старался не попадаться знакомым маман на глаза. Мне казалось, что, взглянув на меня, они думают: — Черствый! Это он оскорбляет свою бедную мать.

Второгодников в классе оказалось двенадцать, и все они были дюжие малые. Как говорили, у попечителя была слабость проваливать учеников с представительной внешностью. С нами они страшно важничали, и самым важным из всех был Ершов. Он был смуглый, с глазами коричневыми, как глаза Натали. Он надменно смотрел и казался таинственным. Он поразил меня. Я попытался покороче сойтись с ним. В училищной церкви я встал рядом с ним и, показав ему головой на икону, сказал ему: — Двое и птица. — Он двинул губами и не посмотрел на меня. Я достал свой каштан (Кати Голубевой) и хотел подарить ему, но он не принял его.

С переключки я вышел с Андреем. Я страшно смеялся и говорил очень громко, посматривая, не Ершов ли это сейчас обогнал нас.

Андрей проводил меня до дому и завернул со мной внутрь. Как всегда, он раскрыл мой учебник «закона». — «Пустыня, — прочел он из главы о «монашестве пустынножительном», — бывшая дотоле безлюдною, вдруг оживилась. Великое множество старцев наполнило оную и читало в ней, постилось, молилось». — Он взял карандаш и бумагу и нарисовал этих старцев.

Карманова, у которой еще оставались здесь кое-какие дела, прикатила и прожила у нас несколько дней. Благодушная, улыбаясь приятно, она поднесла маман «Библию». — Тут есть такое! — сказала она.

Я подслушал кое-что, когда дамы, сияющие, обнявшись, удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с ней обстоятельно поговорить. А она показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на голову и, устроившись на рельсах, дала переехать себя пассажирскому поезду.

Время, которое инженерша у нас провела, хорошо было тем, что маман отвлеклась от меня, не бросала на меня драматических взглядов и не сопровождала их вздохами.

Я этой осенью стал репетитором у одного пятиклассника. Бравый, он был больше и толще меня и басил. Иногда, когда я с ним сидел, к нам являлся отец его. — Вы, если что, — говорил он мне, — ставьте в известность меня. Я буду драть. — И рассказывал, что дерет при полиции: дома мерзавец орет и соседи сбегает. Я вспоминал тогда Васю. Поэзия детства оживала во мне.

Я был занят теперь, и с девицами мне разгуливать некогда было. В свободное время я читал «Мизантропа» или «Дон Жуана». Они мне понравились летом, и я, когда ученик заплатил мне, купил их себе.

В эту зиму со мной не случилось ничего интересного. Разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый, я уже не соблазнялся примером Манилова с Чичиковым. Я теперь издевался над дружбой, смеялся над Гвоздевым с Софроничевым, над магистром фармации Юттом.

По праздникам, когда я стоял в церкви, я знал, что шагах в десяти от меня, за проходом, стоит Натали. Мое зрение, повидимому, стало хуже. Лица ее я не видел. Я чувствовал только, которое пятнышко было ее головой.

Незаметно дожили мы до экзаменов. Утром перед «письменным по математике» в нашей квартире неожиданно звякнул звонок, и Евгения подала мне конверт. В нем, написанные той рукой, что писала мне несколько раз через «почту амура», заклеены были задачи, которые будут даны на экзамене, и их решения. Пакет этот подал Евгении городской.



Помещик Хайновский, с усищами и одетый в какую-то серую куртку с шнурами, какую я видел однажды на Штраусе, вскоре после экзаменов был у нас, чтобы нанять меня на лето к детям. Я связан был метеорологической станцией, и мне нельзя было ехать к нему.

Было жаль. Мне казалось, что там, может быть, я увидел бы что-нибудь необычайное. Я вспомнил, как один ученик прошлой осенью мне рассказывал, что он жил у баронов. Из Англии к баронессе приехал двоюродный брат. В красных трусиках он скакал с перил мостика в пруд, а бароны-соседи, которых созвали и, рассадив на лугу, подавали им кофе, — смотрели.

Один, как другой, одинаковые, как летом прошлого года и как позапрошлого, без происшествий, шли дни. Перед праздниками иногда мимо нашего дома, раздуваясь, в шляпе с перьями, пудренная, волоча по земле подол юбки, в митенках, Горшкова, чуть тащась, проходила в собор. Младший Шустер, свистя и поглядывая на окошки, прогуливался иногда перед домом. Подвальная Аннушка по вечерам, возвращаясь откуда-нибудь, иногда приводила знакомого. Бабка и Федька выскакивали, чтобы им не мешать, и пока они там рассуждали, — стояли на улице.

Раз я, бродя, очутился у лагерей, встретил Андрея, и мы с ним пошли. Как когда я был маленький, нам попадались походные кухни. Расклеены были афиши, и на них напечатано было «Денщик — лиходей». Затрубили «вечернюю зорю». Звезда появилась на небе. — Андрей, — сказал я, — я читаю «Серáпеум». — Я рассказал ему то, что прочел там про древних христиан. Мы посетовали, что в училище нас надувают и правду нам удастся узнать лишь случайно.

Настроясь критически, мы поболтали о боге. Мы вспомнили, как нам хотелось узнать, Серж ли был «Страшный мальчик».

— С Андреем, — говорил я себе, возвращаясь, — приятно, но в нем как-то нет ничего поэтического. — И я вспомнил Ершова.

А. Л., как и в прошлом году, взойдя на гору после обеда, обдумывала каждый день завещание. Маман, чтобы чаще бывать у нее, стала брать у нее «Дамский мир». Иногда, прочтя номер, она посылала меня отвезти его.

Часто, раскрыв его в поезде, я находил в нем что-нибудь занимательное. Например, что влиять на эмоции гостя мы можем через цвет абажура. Когда же мы хотим пробудить в госте страсть, мы должны погасить свет совсем. Мне хотелось тогда, чтобы было с кем вместе посмеяться над этим, но мне было не с кем.

Старухи, которые были в гостях у А. Л., с удовольствием заводили со мной разговоры. Они меня спрашивали, кем я буду. — Врачом, — говорила А. Л. за меня, так как я сам не знал, и я начал и сам отвечать так. Со стула я видел картинку да-Винчи, но с места не мог ничего рассмотреть, подойти же к ней ближе при всех я стеснялся.

Я думал о ней каждый раз, проходя мимо вывесок с прачкой, которая гладит, а в окно у нее за спиной видно небо. Я помнил окно позади стола с «вечерей», изображенное на этой картинке.

В день «перенесения мощей Ефросинии Полоцкой» был «крестный ход», и маман, надев шляпу, в которой понравилась в прошлом году господину Писцову, ходила в собор.

Возвратилась она из собора сияющая и, призвав к себе в спальню меня и Евгению, стала рассказывать нам. — Как прекрасно там было, — снимая с себя свое новое платье и моясь, красивым, как будто в гостях, с интонациями, голосом говорила она. — Было много цветов. Много дам специально приехало с дачи. — И тут она, будто бы вскользь, объявила нам, что в «ходу» была рядом с госпожою Сиу и она была очень любезна и даже, прощаясь, пригласила маман побывать у нее в Шавских Дрожках.

Она наконец покатила туда. В этот вечер мне казалось, что время не движется. Я очень долго купался. Обратно шел медленно. Парило. Тучи висели. Темнело. Бесшумные молнии вспыхивали. В Николаевском парке в кустах егзили. На улицах люди впотмах похотывали. Бабка с Федькой стояли у дома. Ходила от угла до угла мадам Гениг. Она задержала меня и сказала мне, что в такую погоду ей чувствуется, что она одинока.

Я долго сидел перед лампой над книгой. Евгения иногда появлялась в дверях. Не дождавшись, чтобы я на нее посмотрел, она громко вздыхала и исчезала на время.

Маман прибыла в половине двенадцатого. Чрезвычайно довольная, она показала мне книжку, которую получила для чтения от господина Сиу. Эта книжка называлась «Так что же нам делать?» Прижав ее к сердцу, я гладил ее, а маман мне рассказывала, что прислуга Сиу замечательно выдрессирована.

— Видела дочь? — спросил я наконец. Оказалось, ее не было дома.

Маман занялась с того дня дрессировкой Евгении, сшила наколку ей на голову и велела ей, если случится свободное время, вязать для меня шерстяные чулки. Я сказал, что не буду носить их. Маман порыдала.

Когда мы явились в училище, там был уже новый директор. Он был краснощекий, с багровыми жилками, низенький, с пузом; без шеи. Лицо его было пристроено так, что всегда было несколько поднято вверх и казалось положенным на небольшой аналой.

Он завел у нас трубный оркестр и велел нам носить вместо курток рубахи. Он сделал в училищной церкви ступеньки к иконам. Он выписал «кафедру» и в гимнастическом зале сказал с нее речь. Мы узнали из нее между прочим о пользе экскурсий. Они, оказалось, прекрасно дополняют собой обучение в школе.

Прошло два-три дня, и в субботу Иван Моисеич явился к нам перед уроками и объявил нам, что вечером мы отправляемся в Ригу.

Невыспавшиеся, мы туда прибыли утром и, выгрузясь, побежали в какую-то школу пить чай. У вокзала мы остановились и подивились на фурманов в шляпах и узких ливреях с пелеринами и галунами. Их лошади были запряжены без дуги. Пробежали трамваи. Деревья и улицы были только что полны. Город был очень красив и как будто знаком мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький.

Прежде всего мы побывали в соборе, потом в главной кирхе. — Зо загт дер апóстель, — с балкончика проповедывал пастор и жестикулировал, — Паулюс! — Здесь к нам подошел Фридрих Орлов. Он был одет в «штатское». В левой руке он держал «котелок» и перчатки.

Все были растроганы. Он пожимал наши руки, сиял и ходил с нами всюду, куда нас водили. Он с нами осматривал тифельку Анны Иоанновны в клубе, канал с лебедями, поехал на взморье, купался. — Неужели, — восхищался он нами, — действительно вы изучили уже почти весь курс наук? — Обнявшись, я с ним вспомнил, как мы разговаривали про Подольскую улицу, про мужиков. Эта встреча похожа была на какое-то приключение из книги. Я рад был.

На взморье, очутясь без штанов и без курток, в воде, все вдруг стали другими, чем были в училище. С этого дня я иначе стал думать о них.

После Риги мы ездили в Полоцк. Опять мы не спали всю ночь, так как поезд туда отходил на рассвете. Из окон вагона я в первый раз в жизни увидел осенний коричневый лиственный лес. Я припомнил две строчки из Пушкина.



Сонных, нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось «поклониться мощам», и затем нам сказали, что каждый из нас может делать, что хочет, до поезда.

С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним, оттирая песком, мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смылся какой-то отвратительный вкус.

После этого мы походили и набрали на «тупик». Сразу заснув, мы проснулись, когда начинало темнеть. Мы вскочили и поколотили друг друга, чтобы подогреться и не заболеть ревматизмом.

В вагоне я сел с Тарашкевичем рядом, и он рассказал мне, как жил у Хайновского. Он нанялся к нему летом, когда мне пришлось отказаться от этого. Он мне сказал, что Хайновский любил присмотреть за ученьем, советовал, заставлял детей «лежать кшижом». При этом он время от времени к ним подходил и давал им целовать свою ногу. Я рад был, что я не попал туда.

По понедельникам первым уроком у нас было «законоведение», и ему обучал нас отец Натали. Он был седенький, в «штатском», в очках, с бородавкой на лбу и с бородкой как у Петрункевича. Я не отрываясь смотрел на него. Мне казалось, что в чертах его я открываю черты Натали и мадонны И. Ступель.

Наш директор любил все обставать торжественно. К «акту» в гимнастическом зале устроены были подмостки. Над ними висела картина учителя чистописания и рисования Сеппа. На ней нарисовано было, как дочь Иаира воскресла. Наш новый оркестр играл. Хор пел. Подымались один за другим на ступеньки ученики попригожее, натренированные учителями словесности, и декламировали, и в числе их на подмостки был выпущен я.

Мне похлопали. Мне пожал руку Карл Пфердхен и сказал: — Поздравляю. — Меня поманила к себе заместительница председателя «братства». Она сообщила мне, что сейчас же попросит директора, чтобы он ей ссудил меня для выступления в концерте, который будет дан в пользу братства в посту. Пейсах Лейзерах обнял меня. — Ты поэт, — объявил он. Я начал с тех пор хорошо относиться к нему.

Когда вечером я пошел походить, у меня, оказалось, уже была слава. Девушки многозначительно жали мне руки. — Мы знаем уже, — говорили они. Среди них я увидел Луизу, примкнувшую к нам под шумок.

— Я хотела бы с вами, — сказала она мне, — немного поговорить фамильярно. — Она подхватила мою неуступчивость в торге, который у меня состоялся полгода назад с ее матерью. — Сразу заметно, — польстила она, — что у вас есть свой форс.

Обо мне услыхала в конце концов старая Рихтериха, «приходящая немка». Она наняла меня к сыну. Он был моих лет, остолоп, и я скоро от него отказался. Он несколько раз говорил мне, что жалко, что Пушкин убит, и однажды подсунил мне пачку листов со стихами. Он сам сочинил их.

Я снес в училище и показал кой-кому. Мы смеялись. Ершов подошел неожиданно и попросил их до вечера. Он обещал мне вернуть их за «всенощной».

Я вышел из дому раньше, чем следовало, и, дойдя до училища, повернул. Я сказал себе, что пойду-ка и встречу кого-нибудь.

Я встретил много народа, но я не вернулся ни с кем, а шел дальше, пока не увидел Ершова. Смеясь и вытаскивая из кармана стихи, он кивал мне. Мы быстро пошли. Стоя в церкви, мы взглядывали друг на друга и, прячась за спины соседей от взоров Иван-Моисеича, не разжимая зубов, хохотали неслышно.

Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. — Это, — пожимая плечами, сказал я, — который телеграфистов продергивает?

Он принес мне в училище «Степь», и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал.

Я заботился, чтобы у него не пропал интерес ко мне. Вспомнив, что что-то встречалось в «Подростке» про какое-то неприличное место из «Исповеди», я достал ее. — Слушай, — сказал я Ершову, — прочти.

И опять я отправился рано ко всенощной и от училищной двери вернулся и шел до тех пор, пока не увидел его.

— Ну, и гусь, — закричал он в восторге, и я догадался, что он говорит о Руссо. Увлеченный, он схватил мою руку, приподнял ее и прижал к себе. Я тихо отнял ее. Он ходил в пальто старшего брата, и оно ему было немножко мало. Мне казалось, что есть что-то особенно милое в этом.

Я дал ему «Пиквикский клуб», рисовал ему даму, зовущую любезных гостей закусить, и тех старцев, которые так оживили когда-то своим появлением пустыню.

В записки, которые я во время уроков ему посылал, я вставлял что-нибудь из «закона» или из «словесности». «Лучший, — писал я ему, например, — проводник христианского воспитания — взор. Посему надлежит матерям-воспитательницам устремлять оный на воспитуемых и выражать в нем при этом три основные христианские чувства» — или «эта девушка с чуткой душой тяготилась действительностью и рвалась к идеалу». — Затем я ему предлагал побродить со мной вечером.

От виадука мы медленно доходили до «зала для свадеб». Безлюдно, темно и таинственно было на дамбе. С деревьев иногда на нас падали капли. Дорога устлана была мокрыми листьями. На повороте мы долго стояли. На тучах мы видели зарево от городских фонарей. Лай собак доносился из Гривы Земгальской.

Ершов рассказал мне, что отец его прошлой весной бросил службу в акцизе и купил себе землю за Полоцком. Вся семья жила там. Поэтически говорил мне Ершов о приезде к ним в усадьбу одной польской дамы, которую вечером он и отец, с фонарями в руках, провожали до пристани. Мне было грустно, что я в этом роде ничего не могу рассказать ему.

В городе он жил один у канцелярского служащего Олехновича, и Олехнович хвалил его в письмах, в которых подтверждал получение денег за комнату. Кроме Ершова жила у него еще классная дама Эдемска. Она каждый вечер вздыхала за чаем, что снова ничего не успела и прямо не знает, когда доберется наконец до ксенджарии «Освята» и выпишет там на полгода «Газету — два грóша».

Ершов говорил мне, гордясь и оглядываясь, что отец его вегетарянец и даже состоит в переписке с Толстым; что когда еще он был акцизным, ему при поездке на одну винокурню подсунули овощи, которые сварены были в мясном котелке, и он их по неведению съел, но душа его скоро почувствовала, что тут что-то не так, и тогда его вырвало; и что однажды он видел на улице, как офицер бьет по морде солдата за неотдание чести, — и тряся, когда возвратился домой и рассказывал это.

Меня удивило немного в Ершове его восхищение отцом, и мне было приятно, что, вот, и Ершов не без слабостей. Этим он еще больше пленял меня. Я вспоминал «письма к Сержу» и думал, что если бы я продолжал их еще сочинять, то теперь я, должно быть, писал бы: — «Ах, Серж, очень счастлив может быть иногда человек».

Но приманки, которые были у меня для Ершова, все кончились. Скоро он стал уклоняться от встреч со мной по вечерам и не стал отвечать на записки. — Ты хочешь отшить меня? — встав, как всегда, рядом с ним за обедней, спросил я. Презрительный, он ничего не сказал мне.

Я долго ходил в этот день мимо дома, в котором он жил. Снег пошел. Олехнович в плаще с капюшоном и в



чиновничьей шапке, сутулясь, появился на улице. Он успел сбежать куда-то и возвратиться при мне. Борода у него была жидкая, узенькая, и лицо его напоминало лицо Достоевского.

С булками в желтой бумаге, с мешочком, обшитым внизу бахромой, и в пенсне с черной лентой прошла от угла до ворот — классная дама Эдемска. Она здесь была уже дома. Отбросив свою молодецкую выправку, съезжаясь, она семенила понуро.

У глаз я почувствовал слезы и сделал усилие, чтобы не дать им упасть. Я подумал, что я никогда не узнаю уже, подписалась ли она наконец на газету.

Сначала я надеялся долго, что дело еще как-нибудь может уладиться. Ревностно я сидел над Толстым и над Чеховым, запоминая места из них и подбирая, что можно бы было сказать о них, если бы вдруг между мной и Ершовым все стало по-прежнему.

Утром мутного, с низкими тучами и мелкими брызгами в воздухе, дня мы узнали, что умер Толстой. В этот день я решился попробовать: — Умер, — сказал я Ершову, подсев к нему. Он посмотрел на меня, и мне вспомнился Рихтер, который говорил мне, что жалко, что Пушкин убит.

В этот день маман вечером заходила к Сиу. С уважением рассказала она, что сначала господина Сиу долго не было дома, а потом он пришел и принес две открытки: «Толстой убегает из дома, с котомкой и палкою» и «Толстой прилетает на небо, а Христос обнимает его и целует».

Она сообщила, что был разговор обо мне. Сиу были любезны спросить у нее, любитель ли я танцевать, и она им сказала, что нет и что это прискорбно: кто пляшет, тот не набивает свою голову разными, как говорится, идеями.

Я покраснел.

### 33

Так как я говорил, что хочу быть врачом, приходилось мне сесте наконец за латинский язык. Наш учитель немецкого Матц обучал ему и помещал раз в неделю в «Двине» объявление об этом. Я с ним сговорился.

Кухарка отворяла мне дверь и вводила меня. — Подождите немножечко, — распоряжалась она. Я рассматривал, встав на носки, портрет Матца, висевший на стене над диваном, среди вееров и табличек с пословицами. Синеглазый, с румянцем и с желтенькими эспаньолкой и ёжиком, он нарисован был нашим учителем чистописания и рисования Сеппом.

Являлся сам Матц, неся лампу. Поставив ее, он ее поворачивал так, чтобы переведенная на абажур переводная птичка была мне хорошенько видна.

— «Сильва, сильвэ» — смотря на нее, начинал я склонять. Потом Матц объяснял что-нибудь. Я старался показать, что не сплю, и для это повторял за ним время от времени несколько слов: «эт синт кáндида фáта туá» или «пульхра эст».

Раз мы читали с ним «дэ амитицие верэ». Мечтательный, он пошевеливал веками и улыбался приятно: он счастлив был в дружбе.

Однажды, когда я от него возвращался, я встретился с Пейсахом. Мы походили. У «зала для свадеб» мы остановились и, глядя на его освещенные окна, послушались вальс. Я старался не думать о том, что недавно я здесь бывал с другим спутником.

Пейсах разнежничался. Как девицу, он взял меня под руку и обещал дать мне список той оды, которую в прошлом году сочинил наш учитель словесности. Я помнил только конец ее:

Русичи, братья поэта-печальника,  
Урну незримую слез умиления  
В высь необъятную, к горних начальнику,  
Дружно направим с словами прошения:  
Вечная Гоголю слава.

— Зайдем, — предложил он, когда, повторяя эти несколько строк, мы вошли в переулок, в котором он жил. Я пошел с ним, и он дал мне оду. Мы долго смеялись над ней. Я бы мог получить ее раньше, и тогда бы со мной мог смеяться Ершов.

Рождество подходило. Съезжались студенты. Выскакивая на «большой перемене», мы видели их. Через год, предвкушали мы, мы будем тоже ходить в этой форме, являться к училищу и против окон директора, стоя толпой, с независимым видом курить папироски.

Приехал Гвоздев. Он учился теперь во Владимирском юнкерском. Он неожиданно вырос, стал шире, чем был, его трудно узнать было. Бравый, печатая по тротуарам подошвами, он подносил к козырьку концы пальцев в перчатке и вздергивал нос, восхищая девиц. К Грегуару он не заходил и при встрече с ним обошелся с ним пренебрежительно.

В день, когда нас распустили, я видел, как ехала к поезду классная дама Эдемска. Торжественная, она прямо сидела. Корзина с вещами стояла на сиденьи саней рядом с нею. Могло быть, что только что эту корзину ей помог донести до калитки Ершов.

В первый день рождества почтальон принес письма. Евгения в белой наколке, нелепая, точно корова в седле, подала их: Карманова, Вагель А. Л., фрау Анна и еще кое-кто — поздравляли маман. Мне никто не писал. Ни откуда я и не мог ждать письма. За окном валил снег. Так же, может быть, сыпался он в это утро и над «землею» за Полоцком.

Блюма Кац-Каган была коренастая, низенькая, и лицо ее было похоже на лицо краснощекого кучера тройки, которая была выставлена на окне лавки «Рай для детей». Она кончила прошлой весною «гимназию Брун» и уехала в Киев на зубо врачебные курсы. В один теплый вечер, когда из труб капало, выйдя, я увидел ее возле дома. Она прибыла на каникулы.

— Вы не читали, — сказала она мне, — Чуковского: «Нат Пинкертон и современная литература»? — Заглавие это заинтересовало меня. Я читал Пинкертон, а про «современную литературу» я думал, что она — вроде «Красного смеха». Я живо представил себе, как, должно быть, смеются над ней в этой книжке. Мне очень захотелось прочесть ее.

С дамы я посмотрел на дом Янека. В окнах Сиу кто-то двигался. Может быть, это была Натали. Вальс был слышен с катка. Я сказал, что сегодня лед мягкий, и Блюма со мной согласилась.

— Но дело не в том, — заявила она, — Я читала недавно один интересный роман. — И она рассказала его.

Господин путешествовал с дамой. Италия им понравилась больше всего. Они не были муж и жена, но вели себя так, словно были женаты.

— Ну, как вы относитесь к ним? — захотела узнать она. Я удивился. — Никак, — сказал я.

Против «зала для свадеб», когда мы стояли впотьмах и нам слышен был шум электрической станции, оркестр вдали и собачий лай, ближний и дальний, Кац-Каган раскисла. Она, обхватив мою руку, молчала и валилась мне на бок. Я вынужден был от нее отодвинуться. Я ее спрашивал, помнит ли она, как когда-то сюда приходили смотреть на комету. Она мне сказала, что нам еще следует встретиться, и сообщила мне, как ей писать до востребования: «К-К-Б, 200 000».

В течение этой зимы Тарашкевич приглашал меня несколько раз, и я ходил к нему. Кроме меня там бывал Грегуар и один из пятерочников. Он показывал нам, как решаются разного рода задачки. Потом нам давали поесть и поили наливкой. Приязнь возникала тогда между нами. Прощаясь, мы долго стояли в передней, смеялись, смотря друг на друга, опять и опять начинали жать руки и никак не могли разойтись.



Я с особенной нежностью в эти минуты относился к Софроничеву. — Ты встречаешься, — ласково глядя на него, думал я, — каждый день с Натали. Как и я, ты по опыту знаешь, что такое коварство друзей.

Тарашкевич сидел на одной скамье с Шустером. Он разболтал нам, что Шустер посещает Подольскую улицу. — Шустер, — говорил я себе, пораженный. Я вспомнил, как я не нашел в нем когда-то ничего интересного. — Как все же мало мы знаем о людях, — подумал я, — и как неправильно судим о них.

Рано выйдя, я утром стал ждать его. — Шустер, — сказал я и взял его за руку. Сразу же я спросил его, правда ли это. Польщенный, он все рассказал мне. Он ходит по пятницам, так как раз в этот день там бывает осмотр. Он требует книги и узнает, кто здоров. Номера разгорожены там не до самого верха. Однажды там рядом оказался его младший брат, перелез через стенку и стал драться стулом. Теперь его не принимают в домах: — Если хочет ходить туда, то пусть ведет себя как подобает.

### 34

Отец Николай, накрыв голову мне черным фартуком, полубоюпытствовал в этом году, «прелюбы сотворял» ли я. Я попросил, чтобы он разъяснил мне, как делают это, и он, не настаивая, отпустил меня. Я побежал, поздравляя себя, что последнее в моей жизни говенье прошло.

Мне еще раз пришлось выступать на подмостках — в тот день, когда праздновалось «освобождение крестьян». Я прочел стишки скверно, чтобы заместительница председателя братства разочаровалась, и чтобы Ершов не подумал, что я уж совсем идиот.

Пейсах очень хвалил меня. — Ты показал им один раз, — говорил он, — что ты это можешь, и хватит с них. — Он одобрял теперь все, что я делал. Но я не его одобрения хотел.

Уже чувствовалось, что весна будет скоро. В «Раю для детей» вместо санок на окнах уже красовались мячи. Уже лица у людей становились коричневыми. Я оставил латинский язык.

— Все равно, всего курса я не успею пройти, — говорил я, и, кроме того, мне теперь стало ясно, что я не хочу быть врачом.

Я успел из уроков латыни узнать между прочим, что «Ноли ме тангере», подпись под картинкой с Христом в простыне и девицей у ног его, значит «Не тронь меня».

Снова на нас надвигались экзамены. Снова мы трусили, что «попечитель учебного округа» может явиться к нам. Мы были рады, когда вдруг узнали, что кто-то убил его камнем.

Была панихида. Отец Николай сказал проповедь. Вскоре в газете была напечатана корреспонденция врача, у которого попечитель обычно лечился. Оказывалось, что покойник был дегенерат и маньяк. Он проваливал учеников с привлекательной внешностью ради каких-то особенных переживаний. Пока он был жив, полагалось скрывать это, так как нельзя нарушать «медицинскую тайну».

У Грилихеса бастовали. Маман кипятилась, и я удивлялся ей. — Если бы только уметь, — говорила она мне, — то я бы пошла и сама поработала у него эти несколько дней.

Тарашкевич во время экзаменов раз забежал за мной. В доме у него уже ждали нас полный таинственности Грегуар и любезный пятерочник. Вынув конверт, Грегуар положил перед нами бумагу с задачками. — Ну-ка, — сказал он. Пятерочник эти задачки решил нам. Они на другой день даны были нам на экзамене.

Мы издолбились. В день спали мы по три или по четыре часа, и маман изводилась. — Когда, — говорила она, — это кончится? — На ночь, собираясь ложиться, она приносила мне горсть леденцов.

Наконец настал день, когда все было кончено. Мы получили «свидетельства». С «кафедры», на которой стоял стакан с ландышами, говорились напутствия. То засыпая, то вздрагивая и открывая глаза на минутку, я видел, как после директора там очутился учитель словесности. Он оттопырил губу, посмотрел на усы и подергал их. — Истина, благо, — по обыкновению, красноречиво воскликнул он, — и красота!

Пришел вечер, и в книжечке для «наблюдений» я сделал последнюю запись. На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь.

Канатчиков, получая квартирные деньги, поздравил меня. Он не сразу ушел, рассказал нам, что его сын помешался оттого, что не выдержал в технологический. — Он все науки, — сказал нам Канатчиков, — выдержал и только плинтус, чем комнаты клеят, не выдержал.

Все поступали куда-нибудь. Я для себя еще ничего не придумал. Я спрашивал, есть ли такое местечко, куда принимали бы не по экзаменам и не гонясь за отметками по математике, и оказалось, что есть. Я купил полотняный конверт и послал в нем свои документы. Мне скоро прислали письмо, что я принят.

В «участке», когда я ходил за «свидетельством о политической благонадежности», я видел Васю. Он быстро прошел. — Нет, мадам, — на ходу говорил он бежавшей за ним неотступно просительнице. По привычке, я, приятно смутясь, посмотрел ему вслед, и когда он исчез, я подумал, что, может быть, он принимается в эту минуту кого-нибудь драть, кого водят за этим в полицию.

Шустер гостил у отцовской сестры за Двиной в «пасторате», и я не встречался с ним. Пейсах ко мне иногда заходил. Я составил ему список дней, по которым маман отправлялась дежурить. Он раз показал мне ту оду, которую в этом году сочинил наш бывший учитель словесности к празднику «освобождения крестьян». Я прочел ее без интереса. Училище уже не занимало меня.

Пейсах должен был вместе со своей семьей в конце лета уехать в Америку. Он приучался уже к «котелку» и носил вместо прежних очков пенсне с ленточкой. Раз, идя с ним и отстав от него на полшага, я случайно попал взглядом в стекло.

— Погоди, — сказал я, изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла.

Отчетливо я теперь видел на улице лица, читал номера на извозничьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве я теперь видел все листики. Я посмотрел в окно лавки «Фаянс» и увидел, что было на полках внутри. Я увидел двенадцать тарелок, поставленных в ряд, на которых нарисованы были евреи в лохмотьях и написано было «Давали в кредит».

За рекой, удивляясь, я видел людей, стадо, мельницу Гривы Земгалльской. Свистя, пришел на берег Осип, с которым я вместе учился, готовясь к экзамену в приготовительный класс.

Быстро сбросив с себя все, коричневый, он остался в одной круглой шляпке и побежал в ней к воде. Пробегая, он краешком глаза взглянул на меня. Мне хотелось сказать ему «Здравствуй», но я не осмелился.

Я подошел к тому дому, где прошлой зимой жил Ершов. Я увидел узор из гвоздей на калитке, которую он столько раз отворял. Она взвизгнула. Через порог ее, горбясь, шагнул Олехнович. На нем был тот плащ с капюшоном, в котором я его видел зимой. Я увидел теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их.

Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много, и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали далеко была. Лето она в этом году проводила в Одессе.



# РОМАН ТИМЕНЧИК

## О ГОРОДЕ ЭН, ЕГО ИЗОБРАЗИТЕЛЕ И О НЕСБЫВШЕМСЯ ПРОРОЧЕСТВЕ

Романом Леонида Добычина «Город Эн» в высокую прозу вошел Двинск, нынешний Даугавпилс. Культурная история русского Двинска начала века еще не написана. Между тем, в этом городе, существовавшем на перекрестке нескольких национальных традиций, была своя культурная жизнь. Иногда достигали города обрывки петербургских литературных событий. Перед первой мировой войной сюда приезжали с лекциями Федор Сологуб, Георгий Чулков, Корней Чуковский. Последнего, между прочим, вызвал к себе местный полицмейстер и потребовал, чтобы в лекции о футуризме не говорилось о деле Бейлиса. «Иначе...», — и он погрозил пальцем. В те же предвоенные годы в Двинской крепости содержался под стражей известный народо-волец, шлиссельбуржец Н. А. Морозов. Литературовед Эмма Герштейн, уроженка Двинска, еще помнит прием в честь него в доме ее отца, врача, когда в 1913 году Морозов был выпущен. Какие-то детали из бытия интеллигентского Двинска мы знаем по биографии вахтанговской актрисы Цецилии Мансуровой. Но восстановление картины общественно-культурной жизни этого не последнего из российских провинциальных городов еще впереди.

Предстоит краеведам расшифровать и реальный фон добычинского романа, его неожиданно для себя застекленных в русской литературе прототипов (может быть, например, преподаватель немецкого языка — это Карл Иванович Нейгебауер, застрывший в городе дольше других, до самых 1930-х годов?). А нашему литературному сознанию еще предстоит оценить место Добычина среди его более прославленных современников. А они, современники, понимали, что место это Добычин завоевывает: и Мандельштам, который резко неприязненно отнесся к «Городу Эн» (как явствует из печатающейся сейчас в журнале «Подъем» книги Эммы Герштейн о Мандельштаме, он считал что роман подражает «Шуму времени» и «Египетской марке»), и отчужденно приглядывавшийся Зощенко (он писал в 1934 году М. Л. Слонимскому о поэте С. Е. Нельдихене: «По-моему, тут есть любопытные вещи — что-то кажется похоже на Добычина, который тебе столь нравится»), и почти земляк Тынянов, который в пародии (напечатанной В. А. Кавериним) пытался ухватить добычинскую манеру. Наконец, роман Добычина был замечен в русской эмиграции — Владиславом Ходасевичем и Георгием Адамовичем. Рецензией последнего, напечатанной, кажется, тогда, когда автора уже не было в живых — 23 апреля 1936 года в парижской газете «Последние новости», мы и закончим это краткое послесловие к замечательному роману замечательного писателя:

«Имя знакомое лишь понаслышке: Леонид Добычин. Ничего не говорящее название: «Город Эн». Принимаешься перелистывать, не зная, стоит ли читать, и с первой же страницы сомнения исчезают: «что-то» в этой повести есть. Своеобразие слишком очевидно, слишком органично, повесть не может быть пустой.

«Город Эн» — книга глубоко издательская, порой напоминающая Щедрина резкостью и отчетливостью сатиры. По форме — это дневник ребенка школьного возраста, точно и тщательно рассказывающего обо всем, что происходит вокруг него. А живет этот ребенок в провинциальной глуши, и окружает его такая бестолковщина, что рядом щедринский мир должен показаться идеалом осмысленности, справедливости и порядка.

Добычин ничего не говорит от себя. Мальчик, автор дневника, тоже воздерживается от каких-либо примечаний к фактам. Объективность полная. Мальчик так же настроен, как его «маман», как чванная мадам Карманова или «мадмазель» Горикова, как все его приятели. Он с совершенной серьезностью запечатлевает в дневнике все, что видит и слышит.

«Пошел дождик. Будет мокро, сказал я маман».

Все в этом роде. Невозмутимость тона неизменна, постоянна. А бессмыслица, отраженная в дневнике, так чудовищна, так грандиозна, что вся повесть приобретает фантастический оттенок: забываешь бытовые детали, читаешь, как сказку.

Какая странная вещь! Не удивительно, что на последней московской писательской дискуссии о ней было столько толков: дело вовсе не в «формализме» Добычина, а совсем в другом. Никакими резолюциями, никакими теоретическими пожеланиями, очевидно, не удастся все-таки «урегулировать» творчество. «Наши писатели твердо стали на путь социалистического реализма», — читаем мы в советских газетах. Допустим. Но что такое «Город Эн»; можно ли сочетать его с социалистическим реализмом, с понятием литературы как «части общепролетарского дела»? Легко сказать: это сатира на буржуазное русское прошлое. Отговорка — не ответ. У Добычина мефистофельский душок обращен вовсе не на одно только прошлое, и если бы подвернулась ему под руки действительность советская, он, конечно, и ее изобразил бы так, что камня на камне не осталось бы. Ни у кого сейчас нет такой остроты и желчности в смехе (за исключением, пожалуй, Мариенгофа, давно уже умолкшего), и признать, это-то и уменьшает нашу надежду прочесть в скором времени книгу Добычина на современные русские темы. Зощенковский прием его не спасает, и какому бы простаку ни поручил он вести запись о делах и людях «сталинской эпохи», она, эта запись, оказалась бы, вероятно, решительно неприемлемой и явно крамольной. Самый склад ума Добычина таков, что видит он только нелепое и находит вполне верные, вполне свои слова лишь тогда, когда можно презрительно усмехнуться. У автора «Города Эн», как и у Щедрина, смех идет даже дальше непосредственного предмета сатиры и подрывает нечто большее, чем данный общественный строй: яд проникает в общее жизнеощущение, ирония разъедает все.

Какая странная, какая беспощадная и оригинальная вещь. Надо запомнить имя Добычина: это, может быть, будет замечательный писатель».

Конец цитаты. Кавычки закрыты.

Открыты книги.



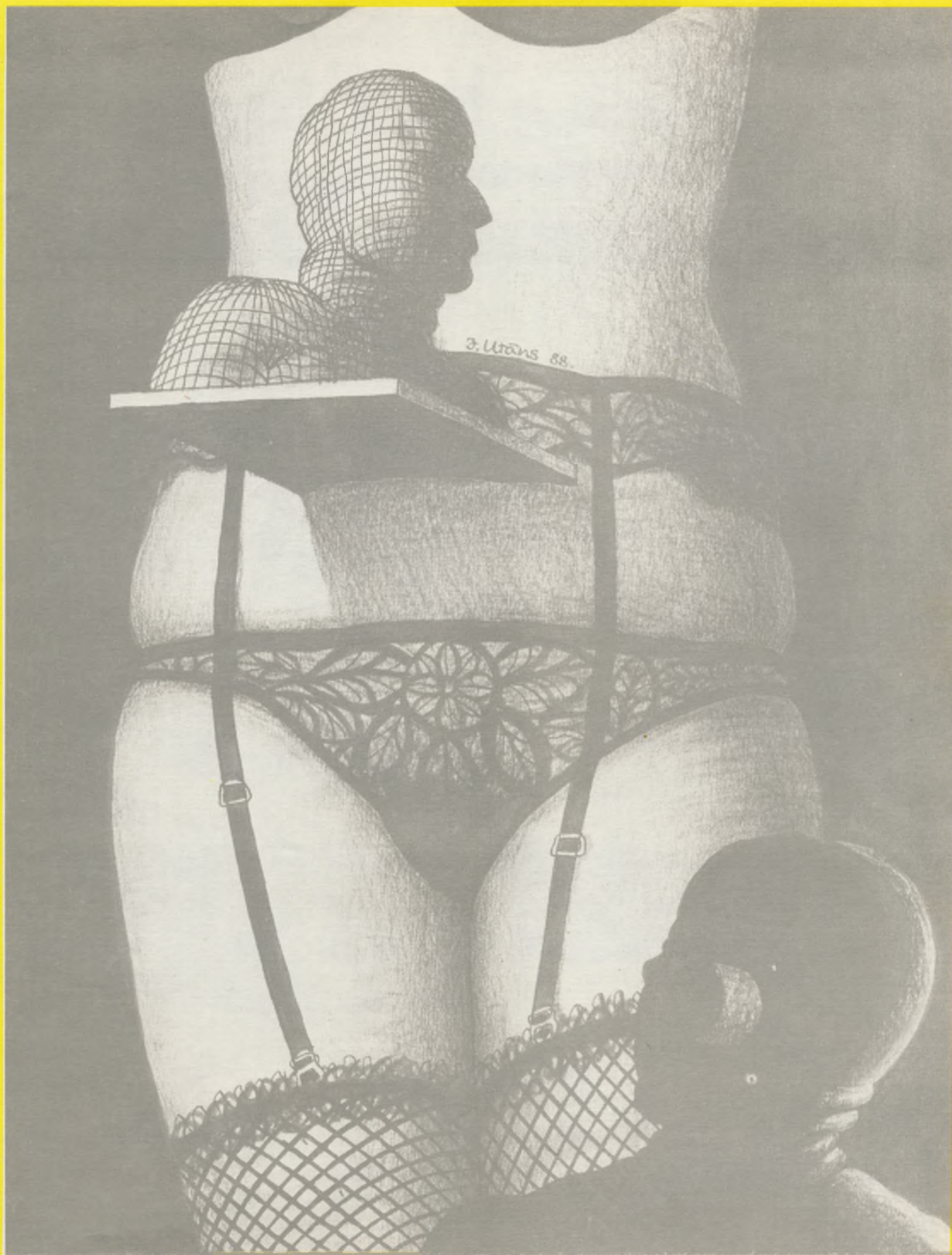


иллюстрация Юриса Утанса

I, IV ОБЛОЖКИ — ОФОРМИТЕЛИ САРМИТЕ МАЛЫНЯ И СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ  
«РОДНИК», 1988, № 11, 1—80



50 коп.

Индекс 77110

# РОДНИК

ПРОЗА,

ПОЭЗИЯ,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА

